

НИКОЛАЙ
ПОЛЕВОЙ
ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И
ПИСЬМА

Николай Алексеевич Полевой

Мешок с золотом

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала "Московский телеграф" (1825–1834).

Настоящее издание включает в себя наиболее значительные и известные художественные произведения русского журналиста, писателя и историка Н. А. Полевого (1796—1846): «Повесть о Симеоне, Суздальском князе», цикл романтических повестей, объединенных автором под названием «Мечты и жизнь», и повесть «Дурочка». Раздел писем знакомит читателя с литературным и дружеским окружением Полевого. Большинство произведений и писем публикуется в советское время впервые.

Содержание

#1	0005
МЕШОК С ЗОЛОТОМ	0005
ПРИМЕЧАНИЯ0101



МЕШОК С ЗОЛОТОМ

*...И в городе горе, и в деревне горе —
куда от горя деваться! Зато в городе
радость и в деревне радость; отчего
же
с нею-то люди редко встречаются?...*

МЫ плохо знаем русские деревни: и не диво! Мы проезжаем в них, редко гостим, никогда не живем. Есть ли время наблюдать, спрашивать, записывать, если наблюдатель скачет на почтовых, подле грязной станции кричит только что: "скорее, скорее" — и в лаковую карету свою требует только подорожную? О скакунах по казенной надобности и говорить нечего. Путешественники наши ездят по городам, а в городах обедают у воевод, пьют чай у предводителей и в пятьдесят граф своих статистическо-географических описаний вставляют сведения о посевах и жатвах, наугад сказанные, которые могли бы они отыскать в Петербурге. Капитаны-исправники, не все мастера наблюдать нравы и обычаи, умеют подписывать только свои имена. А помещики? Да, они живут не в городах ино-

гда, но и не в деревнях. Будто псарня — деревня, будто господский дом — деревня! Тот худо знает быт наших помещиков, кто назовет его деревенским. Правда, есть разница между житьем помещика в городе и в деревне: в деревне подчивают вас шиповкой, а не шампанским, возят гулять между полями, засеянными хлебом, и до смерти надоедают вам рассказами о жатвах и покосах; но тут и кончилось все деревенское! Тот же бостон после обеда, те же слуги с тарелками за обедом, те же концерты, которые надоели вам в городе, те же кухни, тетушки и матушки, те же шляпки и чепчики, гувернеры и моськи, которых вы видали в городах зимою. Иногда помещик захочет показать вам деревенскую простоту: приказчик стонит на барский двор мужиков и баб, господин даст им поцеловать ручку, велит петь, плясать, кланяться и дозволяет напиться допьяна.

Узнаете ли деревню в таком деревенском быту? Повторю, что сказал: мы не знаем русских деревень. Наши сказочники редко попадают на правду: они списывают большею частью не свое, а всего скорее ничего не пишут

о русских деревнях. Оттого мы представляем себе их и хуже, и лучше, нежели каковы они в самом деле. Бульварный романист розовою водою разрисует вам счастье, милое, беззаботное веселье русского пастушка, нежную подружку его, сельскую красавицу, а читатель его, когда, ехавши по большой дороге, въезжает в русскую деревню, тонет в грязи или колотится по деревянной мостовой, видит два ряда однообразных, запачканных или выбеленных, хижин, несколько колодцев по обеим сторонам, пестрые перила вокруг дворов, толпу народа у питейного дома, сельских красавиц в понявах и сарафанах, совсем не поэтических, когда за ним бегут ошипанные, босые мальчишки и просят милостыни... Признайтесь, что читателю идиллий розового романиста русская деревня кажется недостойною красок и лиры, а розовое описание — просто враньем? Но и бульварный романист, и читатель его равно ошибаются.

Нет! Не в господский дом, не на почтовых и не по большой дороге надобно нам ехать. Посох в руки, далее в сторону от пыльной дороги, в лес, в поле: там русская деревня; идите

В ту деревню, вокруг которой, не тронутые ни исправником, ни помещиком, стоят огромные стоги сена, а на гумнах скирды хлеба торчат, как сахарные головы, и желтеют от лучей заходящего солнца; мельница стучит, и колдун-мельник насыпает возы хлеба; тучные, беззаботные стада бродят вокруг. Для чего толпу людей подле бахусова храма вводить в характеристику русской деревни? Это шалухи, повесы деревни: этот народ везде водится. Я поведу вас лучше к мирской избе, где люди бывалые, как лунь седые, и зажиточные крестьяне толкуют и судят миром и с миром, важно, чинно. Не презирайте их совета: дело большое занимает их. Батюшке-царю понадобились люди: у него война за святую Русь с басурманом, с французом, с шведом, и они гадают, кому черед на царскую службу, они расстаются с детьми, с родными. Пойдем в церковь их, простую, благолепную, посмотрим на ряды крестьян, взглядимся, как тихо, внимательно слушают они слово божие, как усердно, в простоте сердца, кладут земные поклоны. Святость религии живо почувствуете вы только в сельской церкви, где ум покорен ве-

ре, где жизнь безвестная, начинаясь крещением в храме, кончится в нем же, и скромный крест дедовской могилы виден юному внуку из окон хижины его. Не бойтесь грубого балахона и зипуна крестьянского: под ними часто бьется сердце золотое, доброе, горячее. Русский крестьянин говорлив, словоохотен: поговорите с ним, спросите у него, не пугайтесь его неученого выговора, его невылощенных фраз: вы найдете в них ум свежий, простой и нередко сильный. Крестьянки русские — не пастушки аркадские, но как часто вы увидите на щеках их розы, в сердце найдете сильные страсти, услышите от них речь умную и смысленную. Подите в деревню вечером, в праздник, когда хороводы их, издали видимые, пестреют на зелени луга: до сердца русского долетят звуки их родной, унылой песни; они напомнят ему безвестную красавицу, погибшую от любви к милому другу, доброго молодца, который не пережил красной девицы... Нет, друзья мои, я знаю русских крестьян, я живал, говаривал с ними, просиживал вечера в их беседах, в их хороводах, слышал многое, что западало мне в душу и остава-

лось в памяти. У них свой мир, свои поверья, свой ум, свои недостатки и добродетели. Дай мне перо Ирвинг, Цшокке, я рассказал бы вам много, много такого, что стоило бы рассказа о наших городских красавицах, швейцарских пастухах и шотландских горцах. И как мне жаль, что я не могу изобразить вам настоящего быта русских крестьян, их жизни, нравов и обычаев! И в деревнях так же горят страсти, так же любят, так же бывают счастливы и тоскуют, как в белокаменной Москве и в позолоченном Петербурге. Там есть свои богачи, свои бедняки... Кстати, послушайте: мне пришла теперь в голову быль русская, простая, неукрашенная; я расскажу вам, как она случилась. Мой рассказ не выдумка. В Москве многие помнят еще эту быль и не дадут мне солгать. Я выведу вам русских крестьян, буду говорить их языком, и — припишите моему неумению, если простой рассказ мой вам не понравится.

* * *

В нескольких десятках верст от Москвы жил-был в одном большом селе крестьянин... назовем его Федосей, сын крестьянина Пан-

кратья; имени деда он почти не помнил, а прадедовой и могилы не знал: крест с нее свалился, она вросла в землю и сравнялась с землею. Фамилий у крестьян наших почти не бывает; разве изредка привяжется к кому-нибудь из них кличка долгорукого, немазаного, сухого, хромого. Горожане страх как дорожат такими кличками, а в деревнях этого обычая не водится. Итак, просто Федосей Панкратов жил и поживал в своем большом доме, молился богу, любил жену, любил детей (бог дал ему трех сынов) и мало знал горя и кручины. Добрые люди говорили, что бог благословил Федосея за его добродетель, его гостеприимство и радушие ко всякому. В самом деле: у Федосея всегда бывали отворены ворота для проезжего и прохожего. Принимал он ласково, сено весил честно, овес мерял с верхом, кормил сытно и за все брал дешевле других. С проходящих же Федосей ничего не брал, а иногда, видя хворого, который тащился на родину из Москвы, где работал в поте лица и откуда вместо деньжонок нес пустую котомку, Федосей даст, бывало, еще бедняку на дорогу хлеба и гривенник, а иного, едучи по пути, до-

везет до ближней деревни и за все требует одного; помолись за Федосея! Если же шел странник или шла странница в Киев или в Соловки, Федосей всегда, бывало пошлет на свечку. Он любил и погулять с приятелями, но не в кабаке: люд у него собирался почетный, выборные, сотские; сам староста, бывало, обнимается с Федосеем и уверениям в дружбе, спасибом за хлеб, за соль конца нет. Федосей живал на добрую статью: только у него и у старосты в целом селе были самовары, и когда, бывало, поразгуляются гости, то самовар и на стол, и пока осушат его, воды не жалеют; чай пивали у него все гости с сахаром, вприкуску, и многие, жалея сахара, уносили кусочек его домой ребятишкам, а желтую воду, которую называли чаем! выпивали так, просто. По самоварам, что ли, у старости с Федосеем было особое душевное сродство и приятельство. Федосей радовался этому, и не без причины: три сына молодец к молодцу, росли у него; у старосты была дочь — загляденье, и наследница всего добра. Сколько увидалось вокруг нее молодежи, сказать трудно! Но красавица Груня ни на кого не смотрела.

Староста Филарет, отец ее, высматривал, выглядывал молодца, хотел избранного принять к себе в дом, и вся деревня думала, что Ванюше младший сын Федосеев, будет зятем старосты.

Но почему так думали люди? Надобно признаться, что хотя все сыновья Федосеевы были молодцы статные, видные, добрые и работающие, но старший — зашибался хмелиной! Бог знает, откуда привязалась к нему эта беда! кажется, что и в роду их не бывало пьющих. Кто русский человек не пьет? Но выпить с радости не беда, а пить, что пьяну быть, — это, всякий православный скажет, не лучше картежничества. Что ж делать! Беда такая случалась с бедняком Осипом редко, но все случалась, и иногда Федосей куда грозно высчитывал ему худые следствия его дурной склонности. Осип плакивал с горя, крепился, давал обещания отцу и матери и опять не мог устоять против искушения. Особливо проклятые московские ресторации пуще всего губили Осипа. Бывало, Осип приедет в Москву продаст хлеб, овес, живности, и только что зазвенит у него деньга в кошеле, откуда ни возь-

мутся приятели, зазовут распить полгаленка чаю, разопьют: Осипу надобно поставить другой, там пивца, и Осип начнет писать мыслете! Масляные здоровяки, прислужники рестораций, хорошо знают, чем приласкать деревенского гостя. Их беганье, их обольстительное стучанье тарелками и чашками, их услужливые крики: "ась, ась, ась", когда гость стучит повелительным ножиком в медную полоскательную чашку, — все это гибель крестьянскому карману, здоровью и счастью. Знаете ли, что меня всегда грусть берет, когда я хожу по московским улицам и вижу в растворенные окошки добрых наших крестьян вокруг засаленных скатертей в ресторациях! Шагу по Москве не ступить, чтобы не попался вам "Лиссабон", "Кракав", "Казань", или рука из облаков с подносом и чашками, или два самовара, намазанные по сторонам слова "Растеряция". Я готов бы каждому посетителю их сказать: "Что ты здесь делаешь, бедняк! Беги домой, стыдись торжественного красного лица своего; купи лучше на свой рубль саек домой, обновку жене... лучше брось их в воду, а не трать в ресторации..." Но приятели, верно,

не так говорят, и не так говаривали они Осипу Федосееву. Приятели в крестьянстве — то же, что в высших обществах картежные игроки: это выжига, подторговщики, кулаки базарные: они бывают богатые и бедные. Все порядочные люди от души их презирают; многих можете отличить по щегольским жидовским кафтанчикам, по жилету, по галстуху, по подбритым волосам: но их терпят в деревнях так, как терпят игроков наши знатные бояре, графы и князья; с ними советуются как с людьми опытными. К несчастью, часто в свете принимают плутовство и шалости за опыты и испытанного в шалостях и плутовстве называют в деревнях бывалым, тертым калачом, прошедшим сквозь огонь и воду, а в городах опытным, перегоревшим в страстях.

Но я заговорился и забыл, о чем шло дело. Разумеется, — что Осип не мог уже нравиться старосте и быть суженым Груни. Брат его средний был, что называют у нас, мизантроп, а в деревне — нелюдим. Сызмала он рос молчаливый, угрюмый, не ходил в посиделки и хороводы, бегал от людей, а в беседах сидел задумавшись, как будто иголку проглотил.

Отцу нечего было на него пожаловаться: Сергей был притом овечка дома и вол на работе. Что же? Ведь не вложишь веселья в душу, когда она веселиться не хочет! Бывают уж такие невеселые люди сроду, бог знает отчего. Такому человеку дайте чинов и почестей, золота и серебра, и добрую жену, и всяких земных благ: у него душа все отталкивает, ей все не мило; хандра, как червяк, точит сердце, и напрасно говорят, что у простых людей ее не бывает. Такой нелюдим могли понравиться Груне, веселой, резвой? Сергей же сказал отцу своему наотрез, что никогда не хочет жениться. Федосей думал, качал головою, наконец сказал: "Авось образумится" — и оставил попечение; тем более что Ванюша, третий сын его, любимец матушкин, был и красивее обоих братьев, и нисколько не походил на них.

Вот был красавец и душой и телом! Русые волосы его кудрявились на голове сами собою; румянец играл во всю щеку, хотя загорелое лицо и грубые руки показывали, что Ванюша был не белоручка. В самом деле: никто лучше его не умел сладить бороны, обтесать доски, загородить клетушки, покрыть соло-

мою навеса, выпрячь, запрячь и в ухабе сбере-
речь, как говорит пословица. На покосе он
шел всегда в первой косе; верно узнавал он
вёдро и ненастье по приметам, и ничто из
рук у него не вываливалось. Но, бывши пер-
вым в работе, он не был вторым и на посидел-
ках и в хороводах. Когда в праздник выходил
он щеголем, в своей черной поярковой шля-
пе, красной александрийской рубашке, шел-
ковом пояске с серебром, в кафтане нарас-
пашку и шел по деревне, то всякой девушке
бывала надобность выбежать за ворота или
выглянуть за окошко: то надобно было по-
дать Христа ради, то надобилось бежать к ко-
лодцу за водою, то курицы уходили далеко, то
маленькие братишки плакали. Но что и гово-
рить о причинах, когда девушка их сыскива-
ет! Мне кажется иногда, что бог заменил у
женщин ум хитростью, и девушки так же бы-
вают хитры в деревнях, как и в городах, когда
надобно украсть минутку у работы или про-
вести старушку бабушку и старичка дедушку.
Я сам видал... Но что толковать о старине! Ра-
зумеется, что Ванюша не был олухом при лас-
ковости своих соседок. К одной подвертывал-

ся он с приветливым словцом; другой кланялся; идя мимо третьей, затягивал песенку, в которой величались ее черные глаза или русые волосы. А глаза Ванюши говорили лучше всяких песен: этот разговор понятен везде. Зато конца не было приветствиям. "Ванюша, здорово!" — раздавался тоненький голосок с одной стороны. "Куда ты, Ваня?" — говорили с другой. "Иван Федосеич! здравствуй. Каково ты живешь? Будешь ли сегодня у свата Парамона?" — спрашивала третья. А когда в хоровах и на посиделках являлся Ванюша, тутто бывало шушуканья у девушек. Песню ли он запевал — голос его заливался в звонких перекатах; сказку ли начинал сказывать — прибауткам и присказкам счета не было. Девушки смеялись, хохотали, сердца их бились сильно-сильно, щеки горели, глаза сияли, как звезды: в деревнях не умеют скрывать сердечного чувства. Староста Филарет улыбался, поглаживал бороду и усы и толкал Федосея, когда Ванюша начинал пляску с Грунею. Федосей готов был сам пуститься вприсядку с радости и только что, бывало, не вымолвит: "Ну, брат, Филарет Карпыч: какова парочка?" Гру-

ня шла павою, а Ванюша соколом подлетал к ней и коршуном вился вокруг красавицы.

Но вот беда! Вдруг девушки разлюбили Ванюшу — и по делам: он перестал им кланяться, заигрывать с ними, зашучивать. Что за спесь такая? Какая спесь! У Ванюши на сердце шевелилось что-то напущенное. Он стал невесел, неразговорчив, задумывался... Уж не братнина ли хандра на него навязалась? Нет! Он разлюбил всех и полюбил одну, и так полюбил, что ему не спалось, не пилося, не елось. Эта одна была Груня, дочь старосты Филарета. Бог знает отчего: видал он ее прежде, и певал с нею, и говаривал, и плясывал, а все не догадывался, что она такая близкая родня его сердцу, что без нее свет не мил ему, а с нею только он и хорош, и красен. Странное дело, что и к Груне перешла такая же тоска: она сидела дома, повеся голову, сложа руки, и мать не один раз вспрыскивала ее святою водою, крестила, благословляла, и все было бесполезно: Груне не становилось радостнее. Дивитесь еще тому, что ни Груня Ванюше, ни Ванюша Груне не смели сказать словечка, даже стали реже сходитья вместе, тосковали,

не видя друг друга, а если знали, что где-нибудь могут встретиться, то не шли туда. Еще больше: им показалось, что они даже не любят друг друга. Если это кажется вам невероятным, то вы не любили или любили только половиной сердца. Такова бывает любовь настоящая. Девушки! не верьте краснобаю, если он вам красиво сказывает, как он вас любит, как ему ничто не мило без вас! Спросите у меня: я любил, я натерпелся горя от злодея-сердца, и я скажу вам, что тот, кому суждено сердце ваше, тот сначала покажется вам и дик, и нелюдим; вам покажется, будто он даже не любит вас, и вы его не любите! Видали ль вы грозу? Вспомните, что сперва найдет черная туча и все заволочет в глазах ваших: темно, грустно, тоскливо, а потом уже засверкают молнии и покатится гром, и снова засветит солнце. Туча — первая тоска любви, гром и молния — любовь сердечная; громом и молнией небо целуется с землею, как жених с невестою.

Но как же это случилось, что Ванюше западала тоска на сердце, когда прежде ее не было? Знаете ли вы, красавицы, ревность? Если не

знаете, не дай вам бог знать ее, но то горе, что по ней только узнается любовь! Вам покажется — не то что вас не любят, — это бы ничего... но что любят другого или другую! Нелюбовь все еще можно снести: можно умереть, и надежда гробовой тишины разве не отрада душе? А ревность и за гробом не дает покоя: каждая улыбка счастливица шевелит бедный прах отверженного; грустно, тяжело и в могиле отказаться от приюта, в котором отказало нам в здешнем мире сердце человеческое!

Вот такую-то тяжелую ревность узнал Ванюша, а с нею узнал и то, что он — любит Груню! Когда прежде он краем уха слышал, что их называли ровней, парочкой, любовь была для него то же, что жизнь для здорового: он ее и не чувствовал; а когда ревность, как злая болезнь, привязалась к нему, он увидел, что без любви Груниной и свет божий не мил, так, как в болезни только мы узнаем, что жизнь дорога, мила человеку.

Совсем нечаянно в селе появился Москвич: это был сын одного тамошнего старика, но он смолоду ушел в Москву, жил в Москве долго, пропадал без вести, торговал в овощной ла-

вочке, переколачивал всякою всячиною — и совестью, как говорили многие. Этот Москвич приехал в село, когда услышал о смерти старика отца. "Не велико, брат, твое наследство!" — говорил ему староста, вводя его в запустевшую отцовскую хижину, бедную и закоптелую. Но Москвич, верно, знал лучше старосты, что у старика водилось добро. Щегольски был он одет, весело смеялся. И вот начал он переворачивать старые ветоши, распечатал и растворил сундук, на котором спал и умер старик, отец его, и — как изумился староста, когда из сундука Москвич вытащил пучки ассигнаций, свертки рублевиков, все старинных! По всей деревне заговорили о богатстве Москвича; он гоголем заходил по улице, стал приторговывать себе дом, начал ластиться к девушкам. Ванюша пришел на беседу к старосте — и что же? Подле Груни сидит Москвич, говорит и смеется, и Груня разговаривает с ним и смеется; Ванюше показалось, что она и не глядит на него! Бедный Ванюша! Где бы Москвичу так сплясать, спеть; но Ванюша сидел, как истукан, в глазах у него было темно, голова кружилась, а Москвич отли-

чался: язык его был настоящая трещотка. Он не умел петь и плясать, зато рассказывал о Москве, о Кремле, об Иване Великом, Сухаревой башне, боярских домах, садах, большом московском колоколе, и все его заслушались, зазевались! Чего Ванюша не смел бы сделать года в три, Москвич сделал в три дня. Он уверял уже всех, что свел Груню с ума, что сватается уже за нее, что староста согласен... Ванюша не знал, что делать: говорить ли с Груней, упасть ли в ноги к отцу и матери и просить их родительского благословения? Между тем другая, тяжкая беда легла у него на плечах.

* * *

Если люди говорили, что бог благословлял Федосея за его добродетель, то отчего же вдруг напасти нашли на этого доброго человека? Люди говорят, что будто без беды век прожить — значит не быть любимцем божьим и что судьбы божий испытывают человека бедствиями, чтобы он не забывался во всегдашнем счастье и в бедах перегорал на новое счастье, как золото в горниле. Правда, истинная правда; но правду эту узнают после, а когда горе посетит человека, то куда горько

быть с этим гостем, и любимца божьего, бедняка, люди страх как не жалуют. Справедливо ли они поступают, не знаю, знаю только, что когда у человека есть где попить, есть что занять, то вокруг него народ вертится, как пчелы вокруг улья, а когда человек горемыкой засядет без хлеба, то ни один не повернется к нему, ни одно ласковое слово не приголубит его; люди идут мимо: бедность не их, а божье дело! Иногда, смотря на мир православный, подумаешь, что в свете только два рода людей: одни, у которых есть деньги, другие, у которых нет денег; первым все хорошо и ладно, другим все плохо и неладно, и эти два разные рода не братья друг с другом!

Так случилось и с Федосеем. Вдруг ночью, когда все спали, загорелся у него дом, разом вспыхнул, и едва Федосей и семья его успели выскочить. Дом горел, как свеча; тушить было некому, потому что соседи отстаивали свои дома, а другие едва успевали тушить головешки, которые разносило по всей деревне. Труб пожарных в наших деревнях не знают; правда, у ворот каждого дома написано, кому с чем бежать на пожар: иному с топором, дру-

гому с багром, третьему с ведром; да это написано на воротах, а не на сердце. Притом же люди ленивы бегать на чужую беду. Пока просыпались, зевали, спрашивали, где горит, жалели — словом, пока сошелся народ, на месте Федосеева дома было только пожарище, выгорал погреб, и торчали черные верей ворот да печка. Однако ж смелым бог владеет: дети Федосеевы бросались в огонь, вынесли благословенную икону, сундук, вывели пару лошадей, корову, хотя едва сами не сгорели. Федосей не плакал, молчал, когда народ шумел, спрашивал, от чего и как загорелось, когда каждый отвечал, рассказывал, толковал, советовал, жалел. "Божья воля!" — промолвил наконец Федосей с глубоким вздохом. Ах! Он посмотрел на своих полунагих, обожженных детей, и на душе его стало горько.

И вот Федосей без дома. Это бы еще ничего, но вдруг открылось, что в сундуке его не было пучка ассигнаций и свертка рублевинок, как у родителя Москвича. Был у него запас хлеба и добра — сгорел; были долги за разными, но если нет должнику надежды занять еще, то займодавец может поклониться

своим деньгам. Так и с Федосеем сбылось: у одного из должников его не случилось денег, другой обещал, третий хотел отдать: никто не платил. Нечего делать. Пошел сам Федосей заниматься. Знаете ли, что для человека, бывшего богачом, ничего нет тяжелее первых дней его скудости! Еще платье его и лицо не угнетены злодейкою бедностью, еще не привык он к унижению, к бесстыдству, с какими бедняк просит, обещает, слышит отказы, кланяется, а люди уже переменялись к нему совершенно, видят в нем нищего и тем сильнее язвят его сердце своими шутками, расспросами, самою жалостью своею. По крайней мере так все кажется бедняку. Я уверен, что люди добрее, нежели мы о них думаем, судя по видимому, но вините несчастное положение всех предметов в мире: счастливец смотрит на них с одной стороны, где свет, а несчастливец с другой, где тень: одному светло, другому темно. Бедность иногда похожа на преступление: не об ней говорят, а она краснеет; о ней сожалеют, а она думает, будто над ней смеются. Что делать! И вот нужда гнет бедняка помаленьку, пока он отучится глядеть на небо и станет

ходить, наклоняясь к земле, как будто ищет потерянного клада; но клады ныне редки на белом свете... где, найти их! Так и идет дело в своем порядке, пока могила всех уравнивает, богачей и бедняков.

Уже добрые дети Федосея очистили место пожарища; на деньжонки, которые успели собрать, купили лесу, ладили, строили, но еще недоставало много, чтобы на месте, бывшего большого дома построить хоть небольшой домишко, вместо тесу покрыть его соломой и укрыться от зимнего холода. Федосей жил в избе своего соседа, из дружбы... Но в чужом углу куда тесно жить: и горшок щей Федосеевых как будто мешал горшку щей его хозяйна, и хозяйской корове мешала корова гостя. Задумавшись, Федосей пришел к старосте Филарету, старому другу, с которым часто пивал из одной кружки. В сенях встретила его Груня, обрадовалась, чуть не заплакала, и Федосей, вспомня былое, также чуть не заплакал. "Добрая примета!" — подумал он, вошел в светлицу, помолился. Черный ворон, Москвич, сидел уже тут, и староста навеселе шумно разговаривал с Москвичом.

— Федюха, здорово! Что скажешь, братище? — проговорил староста, поворачиваясь к Федосею, но не вставая.

Будто морозом обдало Федосея: с ним говорили уже, как с бедняком! Но скрепя сердце, он хотел заговорить о постороннем: его не сажали, а когда он сам сел, староста поднял бороду кверху и горделиво промолвил:

— Аль устал, Федюха? Ты сегодня что-то наряден! Только тогда Федосей заметил, что на нем был праздничный старый кафтан его.

— Да другого кафтана не осталось, Филарет Карпыч, и поневоле наряжаюсь.

— Плохо, Федюха, скоро износишь, — отвечал староста.

— Тогда выпрошу у нищего лохмотья или стану греться на солнышке: бог даром дает нам свет и тепло.

Оба замолчали.

— Мне недосужно, брат, теперь: у нас вот с господином-то есть дельце; так, знаешь, лишние люди мешают, — сказал староста.

— И я было за дельцем к тебе, Филарет Карпыч...

— Да что у нас с тобой за дела, говори: не

взаимы же ведь ты пришел просить?

Федосей побледнел с горя. "Неужели, — подумал он, — на лице у меня уже написано, что я пришел к нему христарадничать!" И в горести опустил он голову. Староста, ничего не замечая, начал говорить о скудости, дороговизне, тяжелых временах. Москвич ничего не говорил, но взоры его... Ах! взоры богача, когда с бедняком говорят о бедности, нестерпимы: в них высказано все, что человек таит во глубине своего сердца и откроет только в день Последнего Суда! Когда староста кончил речь и снова повторил свой вопрос: "Так тебе, видно, деньжонок надобно?", Федосей глухо отвечал: "Нет!" — схватил шапку, поклонился и ушел.

Твердыми шагами дошел он до пожарища своего, но когда увидел там детей своих, работающих на жару, в поте лица, когда услышал веселую песню, которую пел Ванюша, едва сдвигая тяжелое бревно, — силы его оставили, он сел на отрубке и горько зарыдал. У крестьян чувства грубее наших, слабых, нервных, чувств, но когда горесть пробьет крепкую кожу, потрясет сильные мускулы, го-

ресть походит на тяжкую лихорадку. Разве грубый крестьянин не налагает на себя рук, не губит иногда души своей? Какому же сильному чувству должно возмутить душу человека в здешнем мире, когда он губит ее навеки и в будущем свете! Будем дорожить горестями, слезами крестьянина: слезы его едки, и напечатленное ими никогда не изглаживается перед богом...

Дети Федосея, видя отца своего всегда грустным и унылым, не утешали его: они не умели утешать словами. Когда Федосей заплакал, они перестали только петь и молча работали.

Я скажу вам, напротив, дивное дело: с тех пор, как сгорел дом Федосея, дети его совсем переменялись. Сергей, всегда задумчивый, угрюмый, вдруг повеселел, начал смеяться, иногда сидел долго один, разводил руками, что-то говорил про себя, крестился, но не грустил. Ванюша был как темная ночь на другой день после пожара, а на третий так сделался весел, что мать долго смотрела на него и творила молитву. Расскажу, отчего все это было.

Принимая участие в общей печали, Ваню-

ша еще более сокрушался, когда думал, что в этом пожаре сгорели все его надежды на счастье: он стал бедняком. "Что ж за беда? — говорил он. — Я молод, здоров, поле у нас не выгорело: сыты будем; хату сгношим опять, хотя и поменьше, а может бог благословит нас, еще разживемся лучше прежнего. Но Груня! Господи боже мой! Ей уже не бывать за мною: она богата, отец ее староста, а я сын бедняка! И сама Груня станет ли ждать, пока я разбогатею? Этот Москвич проклятый оглушит отца звоном своих денег, облелеет дочь своими ласковыми словами... пропала моя голова!" Но тут начал он думать, что Груня и не любит его, что он никогда не был ей мил. Вот бедный Ванюша ходил целый день кручинен, печален; куда девалась у него вся охота работать, трудиться. — Но отчего сделался он весел на другой день? Если хотите, это маленькая девичья тайна, и я боюсь, чтобы девушки не почли меня болтливym, не перестали мне сказывать тайн своих... А знаете ли, как весело быть поверенным тайн милой девушки, говорить откровенно с ее чистою, как весеннее небо, душою? Что делать! Я обещал ска-

зять и исполню обещание.

В деревне Ванюше показалось душно; ему мерещилось, что все еще дым от пожара выедаёт глаза и невольно заставляет наворачиваться на глазах слезы; он побрел в поле, в лес, ходил, сам не знал где; вдруг глядь... перед ним Груня! Сердце сердцу весть подает. Груня ходила в ближнюю деревню к тетке и как будто знала, что, поворотя ближнею, окольною дорогою, она встретит что-то радостное. Мудрый Сократ имел у себя услужливого демона, который шептал ему, куда идти; у девушек есть такой демон: это ретивое их сердце, вещун и отгадчик. Груня ахнула, испугалась; Ванюша также испугался... Чего бы, кажется? Но испуг бывает продолжителен только при людях, а тогда, кроме алого солнца, катившегося за дальнее поле, и светлой вечерней звезды, блиставшей на другом краю небосклона, не было других свидетелей: Ванюша и Груня были одни-одинехоньки, и через несколько минут рука Груни была в руке Ванюши, и один взор Груни высказал ему все, о чем он крушился, горевал и тосковал.

— Груня, душа моя!

— Ванюша, милый друг мой!

Они забыли вчерашний пожар, забыли, что теперь они не были уже ровнею в глазах людей, и крепко обняли они друг друга.

Не буду рассказывать, что они говорили. И что бы мог я рассказать вам? Таких разговоров не помнят и сами разговаривавшие: помнят только, что сердцам их было хорошо, как на небе, что время летело неприметно, а что говорено — бог знает! Одно слово "люблю" остается от всей беседы.

Ванюша узнал, что Груня любит его, сказал Груне о своем горе, и — "Неужели ты думаешь, что я забуду тебя, когда ты стал беден?" — сказала ему Груня.

— Нет, не думаю; но твой отец, Груня... Ох! этот Москвич...

— Провались он с своим золотом и с деньгами! Кроме тебя, ни за кем не быть Груне: ты или никто!

Тут Груня рассказала, как бесстыдно налгал на нее Москвич. Груня ни однажды не сказала ему даже ни одного ласкового слова. Он сватался, правда, за нее, и Филарет был согласен, но Груня отказалась и со слезами мо-

лила отца не губить ее.

— Тебя принудят, Груня! Кто против власти родительской?

— Да разве язык у меня отсохнет сказать "нет!", если бы и насильно притащили меня к налою? Ведь батюшка наш священник всегда спрашивает... Ты разживешься — подождешь...

— А между тем?

— А между тем будто я не найду отговорок: год притворюсь больною, на другой — безумною...

— Груня, Груня! я буду причиною, что вместо веселья житье твое будет горькое.

— Но какое же веселье было мне до сих пор? Я теперь только и стала весела, когда узнала, что ты вправду меня любишь. Не бойся: я сказала уже батюшке, что дала обещанье идти в Киев с бабушкой на богомолье и к Троице... За тебя буду я молиться, Ванюша, за твое здоровье — и вот год пройдет, там еще год... Довольно ли тебе два года?

— Груня! — вскричал Ванюша, — в два года я разбогатею снова — право, разбогатею, и пусть тогда отец твой возьмет за тебя все мое

доброе! — Он так крепко обнял Груню, что она испугалась, вырвалась и убежала.

И после этого еще бы не повеселеть Ванюше, еще бы матери его не удивляться его веселью! Ему в самом деле казалось, что два года — бог весть сколько времени, что в два года он успеет опять нажить столько, чтобы потягаться с Москвичом и перетягать его. Радостно встал он на заре, радостно работал и пел за работою. Груня прошла мимо, и целый день пролетел для него весело.

Веселись, бедное дитя природы, веселись: ты не знаешь еще, как тяжело, невозможно приобрести права на руку Груни, если для этого надобно нажить деньги! Все другое легко: будь добр и честен — наживешь доброе имя; будь работащ и прилежен — будешь сыт и доволен. Но нажить деньги трудно, и быть счастливым, если без этого нельзя быть счастливым, — не суждено тебе никогда! Золото не падает с неба в суму бедняка; люди не дарят его тому, кто на него может купить себе счастье. Отец твой узнал уже эту истину у отца Груни...

* * *

Но в свете не без добрых же людей. Недуманно, нежданно, вдруг застучала по деревне повозка: ехал торгаш, ходевщик, суздал. Знаете ли, что это за люди?

Так называются торгаша, которые ездят из одного конца Руси в другой, по городам, ярмаркам, деревням, и везде добрые гости, везде умеют выгадать копейку, поторговаться. Ходевщиками называют их потому, что они везде ходят с своим товаром, и в барский дом, и в крестьянскую избушку; суздалами — потому, что большая часть их родом из северных губерний, где земли много, но хлеб худородится, и жители принуждены промышлять рукодельем, а другие — торговать. Нет худа без добра: они наживают огромные деньги, которых не выпашет себе крестьянин в самой хлебородной губернии. Съезжаясь в Москву, суздала забирают себе товар, половину в долг, половину на деньги, укладывают в повозку и едут куда глаза глядят. Им все рука: продать, купить, променять; есть у них книги и пестредка, парча и холст, бархат и ситец. Приехал суздал в деревню — вот и ярмарка, а где ярмарка, там и ходевщик.

Такой-то торгаш приехал теперь в деревню и прямо к гостеприимному Федосею, когда тот, сложа руки, смотрел на новый домишко свой и не знал, что делать. Домишко выведен был только до верхнего венца окошек, и достроить его было нечем.

Как изумился старый знакомый, когда, вместо приюта, приволья, хлеба-соли и чаю, он увидел всегдашнюю свою квартиру в обгарках и радушного, всегда веселого хозяина в горе, в раздумье.

Начались расспросы, рассказы. Гость начал головою, кряхтел и, выслушав все, весело хлопнул Федосея по плечу, примолвя:

— И! не грусти! Где была вода, там и будет.

— Будет? — спросил печально Федосей.

— Будет! — повторил гость. — Пойдем к тебе на квартиру да отдохнем; утро вечера мудренее.

Хоть и в чужом углу, Федосей угостил приезжего чем бог послал. Привыкши ночевать и в хоромах боярских, и в цыганском таборе, ховдевицки напоил лошадей своих, задал им на ночь овса, помолился, растянулся на лавке, положила кафтан под голову, и тотчас захрапел.

Назавтра чем свет встал он, смазал свою повозку и отвел Федосея в сторону.

Молчаливо пошел с ним Федосей. Он и не думал просить у него помощи. Кроме того, что у купца никогда не бывает лежачих денег, изверившись в приятелях, Федосей не хотел лишний раз слышать отказа. Как же изумился Федосей, когда гость его сам предложил ему сто рублей готовых и сто рублей через три месяца с тем, если он отдаст ему сына Сергея в работники!

— Я говорил уж с ним, — сказал добрый Суздал, — и Сергей твой согласен: малый он не разгульный, приучиться к нашему делу недолго, я становлюсь стар, а поле твое обрабатывают двое других сыновей. Я дал себе зарок не давать в долг и в ссуду, но теперь не в долг даю и зарок не переступаю. Мне надо помощника.

Федосею казалось, что бог умилоствовался над ним. Позвали Сергея, и тот пришел веселый, радостный. Объяснилось все дело: Сергея всегда тяготило деревенское бездействие, все ему казалось, что не на одном месте человеку должно жить, а бродить по белу свету;

отец, верно, не отпустил бы его прежде, но теперь Сергей исполнял свое желание, давал неожиданную помощь отцу, видел перед собою открытым белый свет и радовался пуще Ванюши. Суздал вынял свою кожаную книжку, отсчитал новенькими бумажками сто рублей, вычел за промен, Сергей оделся, и повозка покатила в ближнее село, где в тот день была маленькая ярмарка. "В свете не без добрых людей!" — говорил Федосей, пересчитывая в третий раз свою сотню рублей. Ему казалась она богатством, когда прежде и сам он ссужал другим по полусотне.

Прошу после этого угодить на людей! Когда Федосей был богат, он не знал цены своим деньгам, Ванюша его печалился, Сергей хмурился; теперь, когда все они обедняли, Ванюша был весел, Сергей тоже, и Федосей узнал, что русская пословица не лжет: не в счете деньга, а в цене.

* * *

Итак, отстроили домик Федосеев. Еще до заморозов попросил он к себе священника, отслужил молебен и с благословением божим перешел в новое свое жилище. Осип по-

ехал в Москву и привез всю выручку сполна. Теперь, имея опять дом и не нуждаясь ни в чьей помощи, Федосей явился на мирскую сходку по-прежнему, был уважаем другими, но не мог, однако ж, не заметить разницы прежнего и нынешнего житья своего. Никто не попрекал его ничем, но... уже голос его не был силен в мирском определении, иногда его просто не слушали; сидел он в двадцатом месте, и ни староста к нему, ни он к старосте не ходили в гости. Случись же, как нарочно: Москвич выстроил себе дом подле Федосея, и этот дом, заслоняя своею тенью домик Федосея, точно как будто туча застилал его душу. Федосей не сказывал ничего домашним, но смекал, что между Москвичом и старостою дело слажено. Зная, что Ванюша любит Груню, Федосей не мог не подумать: свадьба Москвича убьет бедного парня! Кроме того, где тонко, тут и рвется: недостатки все одолевали Федосея. Все купи, все заведи сызнова: и чашку, и ложку, и плошку. Надолго ли достанет крох небольших, когда в запасе ничего нет? Год этот, как нарочно, случился неурожайный; от непрерывных дождей сопрело

сено; грязи стояли до Рождества: ни выйти, ни выехать...

Но Ванюша все еще был весел, хотя полгода прошло, а о больших деньгах не было еще слышно. Сколько раз сидел он и думал: как наживают деньги? Если бы надобно было за богатство два эти года работать на каторге — с какою охотою пошел бы туда Ванюша, чтобы через два года принести старосте кусок фунта в два золота и купить себе на него радости и счастья!

— Батюшка, — сказал он однажды Федосею, — скажи, сколько надобно рублей, чтобы люди называли богатым?

— Сколько? — отвечал отец, смеючись. — Столько, чтобы быть сыту, не просить займы и припрятывать копейку на черный день.

— Я слышал, что на Руси с голоду еще никто не умирал здоровый, — отвечал Ванюша. — Да я не о том спрашиваю. Вот теперь Москвича называют богачом: как думаешь, что у него, много ли?

— А чужая душа потемки — бог весть! Говорят, рублей не одна сотня лежит у него, а может и тысяча найдется с хвостиком.

— Тысяча? Стало, если бы у тебя была тысяча, ты был бы богач?

— Что делать, дитяtko? Было и у меня, может статься, да богу было не угодно.

— Эх, родной! да мы опять наживем: ведь денъга — дело нажитое.

— Трудно ныне, Ванюша, нажить. К сотне другая сотня все-таки льнет, а на копейку другая копейка ворогом смотрит. У меня и от отца осталось благословенье, и после того двадцать лет жил я да копил: и тут все к тысяче недоставало целой сотни. А если копейки не будет доставать, Шк все тысяча неполная.

Ванюша замолчал. Двадцать лет! Тысяча рублей! Эти слова повторял он про себя раз сотню, и они принудили его задуматься. Двадцать лет! Да это целый век! А из двух годов, которые врезались у него в сердце, прошло уже более полугодя. Чего не придумывал, чего не передумал Ванюша! Все, кроме покушения на добро ближнего. Грешный человек: иногда впадало ему на ум запалить огнем хоромы Москвича; пусть бы и его тысяча рублей сгорела, чтобы ни ему, ни Ванюше не доставалась Груня... Но через минуту такая

мысль ужасала доброе сердце Ванюши; он крестился и прогонял нечистое наущение, ка-ялся в грехе. Иногда перебирал он в голове рассказы о кладах, об исканье их в Иванов день, о траве папоротнике, которая в самую полночь цветет огнистым цветом. Он готов был на все ужасы привидений, только бы достать эту невиданную траву. Но Иванов день давно прошел: надобно было ждать его.

Кто же из нас в жизни не ждал Иванова дня? Кто не подстерегал цветка папоротника, невиданного людьми? Целые поколения гонятся друг за другом, ищут цветка этого и не находят его в здешнем мире. Этот цветок — счастье. Для Ванюши все счастье казалось заключенным в тысяче рублей, для других оно немного поценнее, и осудим ли Ванюшу, что он не спал всю ночь в Иванов день, пугался, робел, но ходил по лесу, где каждый сук казался ему лешим, в каждом Ивановом червячке сверкали глаза кошки? Нет: не было цвета папоротника; пропала надежда на клад!

Лето казалось Ванюше хуже осени; деревня стояла по-прежнему, а ему казалась она пуста и темна, как тюрьма преступника: в

ней не было Груни. С весною бабушка ее отправилась пешком на богомолье, поклониться киевским чудотворцам, и Груня с нею. Ванюша не смел проститься с Грунею, только низко поклонился ей, когда бабушка ее, кашля и горбясь, переступала потихоньку, а Груня лукаво, ласково кивнула ему головой. Вся семья старосты провожала богомолка. Ванюша не смел подойти к милой, не смел сказать ей: "прости", да и сил недостало бы у него сказать это слово! Когда вся семья была уже далеко, побрел и Ванюша, вышел в сторону, на дорогу, смотрел, пока Груня с бабушкой скрылись вдаль, смотрел, когда уже ничего не было видно и вечерние тени застилали широкий путь.

Началась жатва, сняли хлеб; урожай был благословенный. Вдруг однажды Ванюша приходит к отцу и начинает говорить ему, что наступает осень, а затем будет зима, что ему нечего делать дома осенью и зимою, что Осип один управится с работами. Федосей вытаращил глаза, смотрел на Ванюшу. "Что сделалось с малым?" — бормотал он.

Ванюша объяснил наконец, что он хочет в

это время заработать несколько рублей лишних и, чтобы не лежать на печи даром, просит отца позволить ему ехать в Москву и зиму быть там извозчиком.

— Лошадь лишняя у нас есть, — говорил Ванюша. — Я пристану к дяде Парфентью, он даст мне сани, я увижу и узнаю Москву, стану возить там добрых людей. Что же? Десятков пять иногда зарабатывают, а если и меньше, родимый-, то честная денежка стоит неправедного рубля.

"В Москву, извозчиком!" — подумал Федосей. Предложение было неожиданно; он сначала не соглашался, но подумал, подумал и согласился.

С чего пришла эта мысль Ванюше? Право, не знаю. Ему тошно было смотреть на те места, где прежде видал он Груню. Бабушка ее занемогла в Киеве и принуждена была там зазимовать у старого родственника, которого все звали дядею, хотя никто уже не помнил, кто был ему настоящим племянником. Но дядя был богат, держал в Киеве лучший постоянный двор, а староста Филарет не любил отказываться от родства с богатыми. Потом думал

Ванюша... не смешно ли? — что он перебьет рассказы у Москвича и лучше его будет рассказывать о Москве белокаменной. Москва сверх того казалась ему чем-то таким, где наживают деньги: все новое, неизвестное беленит юные горячие головы! Ванюша не мог думать о Москве без того, чтобы мысль о тысяче рублей не приходила ему в голову. Он спал и видел эти два слова вместе: что-то непонятное, необъяснимое волновало его душу...

* * *

Но рассуждайте как угодно, а Ванюша уже на дороге в Москву. Туда ехал попутчик; Ванюша привязал лошадку к телеге и залег в сено, набитое в телегу. Тут была ему свобода думать о прошедшем и будущем. Он не умел мечтать по-нашему, но и у него сколько было воздушных башен! Что-то будет, что-то увидит, что-то встретит он в Москве!

Рано поутру подъехали наши странствователи к Москве по старой Каширской дороге. Было осеннее холодное утро, небо голубое, чистое.

— Вот и матушка Москва! — сказал Ванюше спутник.

Ванюша во все глаза смотрел вперед. Верст семь оставалось еще до заставы, но перед ним открылся уже ряд московских церквей и бесконечное протяжение домов, башен, крыш зеленых, красных, белых. Влево возвышались розовые стены и золотые главы Донского монастыря; прямо белелась застава Серпуховская; вправо разбегались глаза далеко. Звон московских колоколов доносился до слуха Ванюши, изумленного, обрадованного.

— Это что такое? — спрашивал он у спутника, указывая на что-то, горевшее как жар вдали на небе.

— Иван Великий.

— Иван Великий! — повторил Ванюша. — А Сухарева башня где?

— Ее не видно еще; да то ли ты увидишь.

Телега катилась беспрерывно; они въехали в Москву.

* * *

Я уверен, что в будущее время энциклопедия увеличится многими томами против нынешней. Кроме того, что известные ныне знания и науки будут раздвинуты, усовершенствованы, думаю, явится много наук и знаний

совсем новых, о которых мы и не слыхивали. И как не подумать этого после Галлева головошишкословия (так один профессор переводил мудреное название Галлевой науки) и после животного магнетизма? Нисколько не сомневаюсь, что со временем люди сделают науку из физиогномики, и мечты доброго Лафатера не будут мечтами. Из всех склонностей человека ни одни не выказываются так явно у всякого, как три следующие: склонность лечить, склонность угадывать людей по лицу, склонность слушать рассказы о чудесах. От первой уже переморили довольно народа, и хотя никто ныне не верит лекарям, но кто из нас не скажет другому какого-нибудь лекарства, только упомяни о болезни? Люди лечат теперь душу, тело, карманы, государства: все неудачно, все не так и все не отказываются лечить и быть лечимыми! От склонности к чудесам не исцелились люди семьтысячлетним опытом, и с того времени, как Адам был обманут обещанием чудес, донине чудеса — вернейшая уда, на которую поймаете каждого Адамова внука и каждую Евину внучку. Я хотел поговорить только о физиогномике и, ви-

новат, заговорил о другом. Вот в чем дело: если физиогномика будет когда-нибудь усовершенствована, то она принесет много добра. По глазам, рту, носу, бровям, щекам люди станут узнавать друг друга лучше всякого зеркала. Физиогномика прорубит окошечко в душу каждого человека и изъяснит, отчего, например, желтая, пухлая, кислая рожа, мышцы глаза, оттянутые губы — признаки человека сварливого, злого, ненавистника всему доброму; отчего другое лицо... ной я боюсь высчитывать здесь различные лица. Иное может оскорбить случайным сходством какую-нибудь рожу, дышащую на белом свете. Пусть дышит она безопасно, пока еще не усовершенствована физиогномика; но будет время худое для многих, и, может быть, физиогномика распространит свои замечания весьма далеко: сообразив множество лиц и рож (эти два слова не синонимы в русском языке), она даст свои понятия о целых народах; из них извлечет физиогномию областей, городов, и, может быть, в географиях будут со временем писать физиогномии городов наряду с числом жителей, промышленностью, ученостью го-

рода.

Что, если бы теперь можно было сделать это, не откладывая вдаль, и вот, кстати, когда герой нашего рассказа явился в Москву, к лицу без образа нашей старушки приложить физиогномический циркуль и представить ее в верном портрете? Тогда легче бы мне было описывать и что встретил Ванюша в Москве, и какие впечатления врезывались в душу его по мере того, как он смотрел и рассматривал Москву.

Добрая Москва! я люблю тебя искренно, и, кажется, кости мои будут тлеть на одном из мирных кладбищ твоих. Твое имя дорого моему сердцу; твои башни, твои золотые маковки лелеяли мои юношеские надежды, когда еще в дремучих лесах Сибири я знал тебя только по имени, по рассказам бывалых людей; я живо помню, с каким восторгом приближался я к тебе, с какою грустью бродил после по твоим развалинам, с какою радостью видел обновляемые твои стены, храмы, башни и громадные здания! Не сердись же, милая, если, так давно, так искренно любя, я осмелюсь говорить о тебе правду. Твои недо-

статки — наши, а об себе почему не сказать?

Москва город большой и единственный, который только на Руси может существовать: широкий, длинный, неправильный; город, который строили семь веков, в котором от каждого века что-нибудь осталось, смешалось, изменилось, но не истребилось и все вместе похоже на жилище богатого русского помещика нашего времени. Войдите в жилище этого помещика: тут Европа и Азия, все языки, все страны, все века; на чердаках гнездятся гувернер-француз, дядька-немец, нянька-англичанка; в передней ливреи прошлого века и жокейские курточки нынешнего; в буфетах саксонский фарфор, русские старинные серебряные кубки и китайские куклы; в гостиной говорят по-французски, в зале поют по-итальянски, в кабинете горюют по-русски. Так и в Москве есть все, старое и новое, родное и чужое, европейское и азиатское, великое и смешное. Громадных домов множество, и все они разбросаны; улицы огромные, и все кривые. Вот старое вековое здание, подле — палаты вельможи прошлого века, далее новый карточный домик с итальянским мезо-

нином, от которого гниет кровля и в целом доме холодно; там сад, потом огромный казенный дом, далее пустырь и греческая табачная лавка, еще палаты; тут обгорелый при французах дом, хлебные лавки, французские моды, бульвар, церковь. Окрестности московские прелестны, но вы едва пройдете по дорогам от грязи и от того, что в одном месте мост сгнил, а пока делают новый, каменный великолепный мост, положены через ручей бревны, по которым и Киарини подумает, как перейти; там песок, тут ручей, через который нет перевоза. Зато полюбуйтесь Москвою издали, посмотрите на толпы народа, поглядите на пестроту, движение, прислушайтесь к стуку, колокольному звону, шуму, говору, взгляните на Кремль, на Красную площадь, и — вы согласитесь, что Москва — точная Русь: наш русский дух, наши недостатки и добродетели, русское худо и добро, огромность и слабость — все это, как будто живыми словами, вырезано на берегах Москвы и Яузы.

* * *

Такова Москва. Но что же Ванюша мог найти в Москве, увидеть, узнать? Не знаю,

что найдет, но увидел и узнал он многое. Рано въезжая в Москву, он изумился, как тих, спокоен этот необозримый город: ни души по улицам, кроме дворников, булочников, будочников; ставни окон заперты, все спит; только не спала молитва благочестивых людей: церкви, мимо которых ехала телега наших странствователей, были отворены, сквозь двери их мелькали свечи перед иконами и слышалось священное пение. Долго из улицы в улицу поворачивал спутник Ванюши. Вот миновались огромные здания, начались домишки, хуже, хуже, и Ванюша доехал почти вплоть до другой заставы. Телега остановилась перед старым деревянным домом; спутник Ванюши встал, снял шляпу, помолился и начал отворять ворота: открылся длинный грязный двор, с обеих сторон и с задней стороны обставленный высокими навесами на столбах. Множество лошадей стояло у колод, множество саней, дрожек, несколько карет было под навесами. Грустно посмотрел Ванюша вокруг и заглянул во двор. Ах! Москва издалека так хорошо белела, светлела, горела первыми лучами солнца, так изум-

ляла его своими домами, храмами... Надобно же ему было проехать всю Москву и для чего? Чтобы на краю Москвы найти грязный, бедный приют! "Неужели это Москва?" — спрашивал Ванюша, смотря вокруг на бедные лавочки, народ засаленный и дурно одетый. Застава перед глазами казалась дурным предзнаменованием Ванюше, из-за нее как будто шептал ему голос: "Зачем ты пожаловал сюда, незванный гость? В одни двери ты въехал, вот другие: изволь выезжать! И без тебя тесно в Москве, и без тебя довольно искателей счастья гранят московскую мостовую ногами и колесами!"

Какое-то унылое чувство ощущает человек, вырванный из мирного уголка и брошенный в море большого города, особенно пестрой Москвы. Не зная еще ее, он составляет себе понятие по-своему, видит ее, перемешивает свое понятие с видимым; обширность давит его воображение; сближение крайностей — обыкновенная участь больших городов — изумляет его взоры, и первое чувство после того — унылость, отчуждение от нового местопребывания, воспоминание о старом,

знакомом уголке, где каждая травка как будто родная, каждый человек знаком с детства, и солнце светит веселее, и хлеб слаще! Тут жестоко страдает и самолюбие человеческое, когда пришелец видит себя для всех чуждым. Нет ему ни слова, ни привета: он один, один и чувствует это одиночество: не для него все живет и движется вокруг, всякий занят своим, спешит, идет мимо пришельца, его никто не знает, когда прежде утром встречало его ласковое слово родного и на каждом шагу привет знакомого.

Такие чувства испытывает всякий, кроме знатных и богачей, которые из палат своих переезжают в палаты московские, для которых везде и все равно: в Москве, в Париже, в России, в Америке. После, со временем, если существенность не бедна, призраки прошедшего стираются в памяти. Шум, блеск выгоняют из души мысль о родине, о былом; пришлец едва помнит их, как милые младенческие годы. Но хорошо, у кого не бедна настоящая существенность, хорошо, если человек умеет хотя расцвечивать ее яркими красками!

Бедный Ванюша не был любимцем воображения: оно играло у него немногими грубыми цветами, а что окружало его, то не могло утешить, приласкать надеждою, согреть дыханием радости. Уже готов он был раскаиваться, что поехал в Москву, уже спутник его, который через два дня должен был снова увидеть зеленые луга родины, казался Ванюше счастливым, а сам себе Ванюша показался выброшенным зимнею вьюгою на придорожный сугроб, когда в поле вьется снег и ветер воеет в далеком бору. "Где найти мне здесь счастье свое! — сказал он сам себе. — Но разве ты здесь ищешь своего счастья? — прибавил он. — Тебе надобно денег, денег, денег, и их ты достанешь. Так! Вещий сон мой сбудется. Пойдем к дяде Парфену".

Вещий сон видел Ванюша, заснувши в телеге перед самою Москвою. Ему показалось, что он идет в каком-то городе, у которого посредине одной улицы поместилось бы полдеревни их. И вот перед ним бесконечная площадь, дома, лавки, церкви, какая-то красная башня и множество народа. Среди этого народа бродил Ванюша; вдруг старичок, седой,

добрый, подходит к нему и говорит: "Знаю, чего ты ищешь; молись святому Спасу". Три земные поклона положил Ванюша перед красною башнею, на которой была икона Спаса, и старичок повел его по широкой улице... Тут сон Ванюши смешался: ему виделись золото, серебро, луга, поля родины и Груня. Он помнил только, что Труня обняла его, и с ее поцелуем разлетелся сон.

По грязному двору, которого и осенний холод не мог заморозить, Ванюша вошел в обширную хоромину. Тут бесконечные палаты, печь, грязь, куча народа, множество конской сбруи бросились ему в глаза. За длинным столом сидело и стояло множество народа и хлебало щи из чашки величиною в пол-ушата; другие одевались, иной молился, другой пел, третий перед завтраком прогонял остатки сна стаканом пенника: точная ярмарка! Это все были будущие товарищи Ванюши, извозчики рессорные, калиберные, каретные, ломовые. В светелке, рядом с этою ярмаркою, Ванюша нашел дядю Парфентья. Старик, бородатый, плешивый, красный, в красной рубахе и старом плисовом камзоле, с разломанными сче-

тами в руке и с мелом в другой, — таков явился дядюшка Ванюши. Он считал тогда на стене меловые значки, рассчитываясь с извозчиком и доказывая ему, что три мерки овса следует прибавить к замеченным на нарезке.

— Дядя Парфен, здорово, — робко проговорил Ванюша.

— Кто там? Что ты? — сказал Парфентий, хмурясь. — Какой дядя?

— Я брат Осипа Федосеева.

— Будто ты? Видишь, худое-то дерево как тянется! Будто ты Ванюшка Федосеев?

Начался беглый разговор, беспрестанно прерываемый приходом и уходом извозчиков, спросами жены, криком детей, которых Парфентий отечески унимал за вихор. Ванюша объяснил Парфентью все дело.

— Ох вы, голь! — воскликнул Парфентий. — Ведь несет же нелегкая в Москву! И без того вашей братьи здесь битком набито. В нынешнее ли время зашибить копейку, когда уж тут на обухе рожь молотить, а часто приходится локти грызть!

— Дядюшка, я тебе в наклад не буду; за хлеб, за соль возьми, а на корм я, уж верно,

добуду...

— Добудешь ноги, на чем бежать. Дядюшка, пиши должок на стенку, а примись-ка после за тебя, так бабьего вою не оберешься.

Плохое было приветствие на первый раз, и диво ли, что Ванюша после такого разговора с дядею Парфентьем вышел за ворота печален, со слезами на глазах.

— Добрый молодец! Спасу Христову на свечку; бог благословит тебя, — проговорил ему кто-то.

Ванюша вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял седой старик с кружкою, в которую собирал он на свечку к церкви Спаса.

Как этот нечаянный случай обрадовал Ванюшу! С какою радостью вынял он целую гривну и положил старику, с каким восторгом слушал благословение старика!

И дядя Парфентий не всегда бывал сердит, не всегда каркал, будто зловещий ворон. Вечером, на досуге, он разговорился с Ванюшею о родине, о Федосее, о делах Ванюши, считал, пересчитывал, выспрашивал у Ванюши и заключил приветствием:

— Ну, ты малый, кажись, добрый! Смотри;

не пей, не дерись, будь услужлив да уважай дядю. Ремесло, за которое ты принимаешься, таково, что без гибкой спины, о которую палка хожалого не ломается, ничего не добудешь. Нынче ведь и не наш брат берет только поклонам, а нам неужели умнее бояр быть!

И вот Ванюшу повели в Частный дом, потом еще и еще куда-то; подьячие писали, брали с него на водку, на калачи, и когда выпал первый снег, Ванюша на своей лошадке, в плохих пошевнях, с медным значком на спине, на котором выбито было название части города, стал на ближнюю биржу и сделался членом республики московских волочков и ванюшек.

В самом деле, если нельзя назвать республикою, то можно уподобить целому гражданскому обществу мир московских извозчиков. Странное животное человек: он все разнообразит, ладит по-своему, так что куда ни брось его, везде от него раздвигается круг, как будто от камня, кинутого в воду. Эти круги сталкиваются, сбивают друг друга и составляют что-то свое, особенное, в чем, как бы ни мало оно было, отражаются человек, и страсти его, и

добро, и худо природы человеческой. Так и в мире московских извозчиков есть свои условия быта, из коих только гении-извозчики вылетают и в коих богатство выигрывает, ум служит подставкою, а бедность и глупость, как везде, бывают родные сестры.

Ванюша скоро увидел, что ему не угоняться за другими, если он не пустит гончею собакою свою совесть и если не будет равняться с товарищами, а это равенство было ему куда не по сердцу. Биржа, где стоял Ванюша, составляла только часть мира того постоянного двора, в котором, под покровительством Парфентья, кочевали пришлецы отсюда и всякие. Они разъезжались каждое утро на несколько биржей и соединялись в одно общество поздно вечером. На каждой бирже были записные, вековые жильцы-извозчики, знавшие всю подноготную в Москве и управлявшие общими мнениями; власть их была деспотическая, ибо основывалась на кулаках и дружбе с будочниками. Эти жильцы улиц были народ отборный, закаленный в боях и ресторациях; у них были свои льстецы, рабы, прислужники. Волнения на бирже, при появ-

лении пешеходца, все делались под их рукою. Тут был неизъяснимый дележ, угощение, черед. Главные коноводы всего более выработывали ночью, возя удалой народ на лихих дрожках бог знает куда и где кидали горстью двугривенные, как сор, не уважали синих и красных бумажек и гордились только белыми. Их подручные отличались бесстыдною ловкостью, когда надобно было подавать сани, наглостью, когда должно было отбить товарища, низостью, когда прихоть седока угрожала их спине. Такой народ всех скорее зарабатывал копейку, но невпрок, а кто не хотел быть угодником высшего звания граждан биржи, не гулял, не делился в шалостях с низшим званием, тот смело мог ручаться, что всегда воротится домой с мелочью, которую утром взял на сдачу. Ванюша не умел и не мог поладить с своими согражданами, и вскоре общий голос проклинал его негодеям, нетоварищем, лукавцем. Он с изумлением видел, как старики, подобно ему приехавшие извозничать, сгибались перед шалунами и коноводами и как самый дядя Парфентий был всегда на стороне сильного, кривил весы правосу-

дия; наглая ложь, бесстыдство, и обман выигрывали. Он переехал на другую биржу: везде одно и то же! Оставалось удаляться от биржей, стоять на уголках, ездить из улицы в улицу. Но распри, междоусобия, ссоры, бури в стакане воды и тут не давали Ванюше покоя. Его встречали на ночлеге насмешкою, проводжали свистом. Никто, правда, не смел прикоснуться к Ванюше, который, кроме сильных рук, был еще любимцем тетки, жены дяди Парфентья. Новая беда: дядя Парфентий был ревнив, как турок, и красивое лицо Ванюши, ласковая, тихая речь, услужливость его не нравились Парфентью.

— Да ведь ты сам велел мне угождать другим? — говорил ему Ванюша.

— Мне, а не бабам, угождать товарищам да власти, а ты с товарищами не ладишь и власти в ус не дуешь. Вчера хожалый Фома шел еле жив сыр, ты ехал мимо и не хотел довести его до будки, а как тетка кличет пособлять, так Ванюша сломя голову бежит. Смотри, приятель!

Но, может быть, ловкость, честность, ум Ванюши награждали его за все неудоволь-

ствия барышами? Ванюша и сам надеялся на это. Он скоро узнал Москву, ее крюки, извилины, бесчисленные церкви и бесконечные переулки. Он тотчас заметил, что если стать в Китае, протянуть и сложить обе руки, то десять пальцев на руках, считая от Варварских до Боровицких ворот, будут указателями главных улиц: Варварки с Солянкой, Ильинки с Покровкой, Мясницкой, Лубянки с Сре-тенкой, Петровки, Дмитровки, Никитской с Кудриным, Воздвиженки с Поварскою, Знаменки с Арбатом и Ленивки с Пречистенкой и Остоженкой; что поперек перерезывают все сии улицы валы Белого и Земляного городов, означенные бульварами, которые, начавшись от одного места на берегу Москвы-реки, примыкают к другому и описывают два полукруга. Накинув такую геометрическую сетку, Ванюше легко было рассчитать все места, и вы видите, что смысла у него доставало на все. Через два месяца его не затрудняли ни Путинки, ни Крапивки, ни Чигасы, ни Болвановка, ни Яндовы, ни Драчи, ни Листы: везде, как по писаному, ездил Ванюша. Но его тощая лошадка, бедная одежда, плохие пошевенки не

казались признаками ловкости; у него не хватало бесстыдства хвалиться, перебивать у других, перекрикивать другого, когда на голос: "извозчик!", будто ястребы, кидались отовсюду его товарищи. Ах! как много выигрывают на белом свете медный лоб и ловкий язык, в передней вельможи и... на бирже московских волочков! С грустью видал Ванюша, что люди садились на сани хуже его только за то, что извозчик умел уверить, будто он лучше; торжественно катили с ездоками товарищи, а Ванюша повеся нос оставался на месте и постегивал хлыстиком по снегу. Но если и удавалось Ванюше поймать добычу, он изумлялся, что за народ такой горожане: прихотливый, сварливый и скупой не скупой, а бог знает как назвать. Богач в глазах его бросал деньги за вздор, а когда доходило до наемки санок, торговался за копейку, как будто за сокровище, и боже сохрани если недоставало сдачи хоть двух грошей! Ванюша привез однажды из Охотного ряда какого-то толстяка, который купил там пять фунтов петушьих гребешков и — за гривну оставил в закладе рукавицу Ванюши, не боясь, что бедняжка отморозит ру-

ку, пока выработает сдачу!

* * *

Считая и пересчитывая, Ванюша думал, что к весне все останется, однако ж, у него что-нибудь. Уже прощался он с Москвою, хотел навсегда расстаться с ее великолепием, богатством, щедростью и — нечего делать — отказаться от мечты своей! Золотые сны его разлетелись, и горе давило сердце. Но как изумился он, когда, увидев невозможность ездить по Москве на санях, пришел к дяде Парфентью и стал просить расчета и когда тот, принявшись за свои счета и мел, объявил его в долгу! Бедный Ванюша! Он не смел съесть крупчатого калача, ни разу не лакомился грушами и клюквенным квасом, а вычет на вычет, с пословицею "деньга счет любит", Парфентий объявил, что не выпустит его из Москвы, и, взяв всю заработку, требовал остальных денег. Ванюша обещал прислать, просил уступить; тетка вздумала защищать его; неумолимый дядя Парфентий вспыхнул, затопал ногами, выкинул сотню браней. Что оставалось делать Ванюше? Он остался зарабатывать долг.

Уже снег по московским улицам превращался в грязь, уже зимняя настилка их была вырублена и таяла в огромных кучах, когда Ванюша перепряг лошадь свою из саней в вольчок и печально выехал из ворот Парфентьева дома. Не с кем ему было даже и погрустить. Теперь: когда кончится его работа, что подумает отец, что скажет Груня, и где она? Светлое небо московское казалось Ванюше туманно, и он прежде всего отправился туда, откуда каждый день начинал свое странствование: к Спасским воротам.

Я уже говорил вам о вещем сне Ванюши, но не досказал самого удивительного. Когда в первый раз пришел Ванюша к Лобному месту, он невольно изумился и остановился с благоговением. Вспомнил ли он великие события, пролетевшие по этому святому месту: казни Грозного, торжество Самозванца, парады Наполеона, воздвижение памятника Минину и Пожарскому рукою победоносного царя от имени благодарного Отечества? Нет! Ванюша не знал истории. Изумили ль его благоговение, с каким каждый проходящий снимает шляпу и шапку и преклоняется пред святы-

ми Спасскими воротами, или диковинная церковь Василия Блаженного, вид царского терема, обширных рядов, изваяние спасителей Отечества? Изумили; но он даже испугался, когда, взглянув на Спасские ворота, узнал ту красную башню, которая виделась ему во сне, площадь, многолюдство и все предметы! Только не было благодетельного старика. И в душе пришлеца возросла тайная молитва благодарной надежды, укрепились мысль, что в Москве точно найдет он свое счастье. После сего каждый день начинал он тремя земными поклонами у Спасских ворот. И теперь туда приехал он, помолился и поехал возить добрых людей.

День за днем летел; настало лето. По московским улицам поднималась летняя примета — пыль; бульварные клочки дерну и деревцы на подпорках покрывались бедною зеленью. Москвичи выезжали дышать чистым воздухом в болотах Кускова, Кассина, Останькова, наслаждаться деревенскою жизнью подле трактира в Марьиной роще, в огородах Сокольников и наслаждаться природою в скучном Нескучном. Душною тюрьмою казалась

тогда Ванюше Москва, где от каменных домов и мостовых было жарко, как в натопленной печи, особенно ему, всегда жившему на воле в полях и рощах, будто птичка поднебесная. В Москву и добрая птичка, казалось, не смела залетать: только слышал он чириканье воробьев, видел стада грачей, ворон и коршунов.

* * *

Вот однажды приехал Ванюша ранним утром к Лобному месту. Там не было еще ни одной души. И сам Ванюша дивился, что так рано подняло его с мягкого сена. Тихо повернул он свою лошадку и поехал по Ильинке, беспечно глядя на забранные ряды, из которых еще ни один сторож не выглядывал. Вдруг лошадь его на что-то наступила, что-то заборонило под колесами. Ванюша смотрит и видит на мостовой среди улицы кожаный мешок, небольшой, чем-то туго набитый. "Находка!" — сказал Ванюша, соскочил с Волочка, схватил мешок... Тяжесть необыкновенная!.. Что это такое? Он оглядывается во все стороны: нигде нет следа человеческого. Я не знаю, что думал тогда Ванюша. Он поспешно положил находку перед собою, сам не зная

для чего повернул лошадь назад, погнался скорее, скорее, хотел остановиться, посмотреть, дрожал, радовался, боялся встречи и между тем погонял лошадь далее, далее...

Вот он за Тверскою заставою. Тогда еще не было там высокого, гладкого Петербургского шоссе; дорога шла песками, между сосновым лесом — с левой и полем и огородами к Бутырмам с правой стороны, где теперь разводят сад, до самого Петровского дворца. Ванюша свернул в левую сторону, в лес, оглянулся: никого и ничего не видно, кроме деревьев. Тут он снял свою находку и думал, держа ее в руках: "Что тут? Ну! если все это медные деньги? Бог мне послал такое добро; я расплачусь с дядею Парфеном и мигом в деревню! О, если бы дал бог!.." И он поспешно развязывает мешок, смотрит... не верит глазам, ставит мешок к дереву, протирает глаза, крестится... берет за мешок снова... Так! Он не ошибся: мешок полнехонек золота!..

— Мешок с золотом! — вскричал Ванюша и сам испугался своего голоса, раздавшегося в лесу. Он схватил мешок, бросился далее в чаще леса и тогда только остановился, когда до-

рожка совсем пропала и идти было некуда.

Ванюша, добрый Ванюша! Неужели и тебя, едва прикоснулся ты к проклятому золоту, демон корыстолюбия уже схватил своими когтями? Куда ты бежишь? Если это не твое, где скроется хищник чужого? Если твое, зачем прячешься в темноту леса: иди на белый свет, перед добрых людей! Только вор и разбойник меняют жите между православными на гнездо совы, когда руки их тяжелеют золотом, вспрыснутым кровию братьев...

Но Ванюша сам не мог бы тогда сказать, что с ним делалось. Не корыстолюбие овладело им: в его душу, юную, не привыкшую к страстям, не могла вдруг поселиться страсть гибельная, задушающая всех своих сестер: она или вползает в душу устарелую, изношенную уже другими страстями, или бывает следствием привычки с младенческих ногтей, привычки глядеть на золото, видеть его в грудях и сундуках, когда голос опытного корыстолюбца нашептывает юному наследнику о неизъяснимом наслаждении сидеть подле сундуков и думать, смотря на золото: "Оно мое!" Нет! Ванюша, который, как благополу-

чия, ждал мешка медных денег, увидев мешок золота, сделался на несколько времени безмолвен, бесчувствен, думал, что видит все это во сне, ощупывал себя, землю, деревья, глядел на небо и прикасался к дорогому мешку тихо, осторожно, как будто боясь, что он обожжет его, как будто страшась, что он разлетится дымом в руках. Щеки его горели, глаза сверкали, и между тем ему казались темно, неясственно все предметы; жар палил язык его; Ванюша с жадностию срывал травку, еще не обсохшую от утренней росы, и сосал с нее росу.

— Что ж это такое? — спросил он наконец сам себя, сел на землю, вынул из мешка одну монету, другую, третью; все полуимпериялы, империялы. Ванюша едва мог уверить себя, что каждый из них стоит по двадцать и по сорок рублей. Он думал: сколько их пойдет в сотню, в тысячу рублей, считал пятками полуимпериялов и насчитал десять пятков.

— Тысяча! — воскликнул он с радостным воплем и тотчас новая мысль блеснула в его голове. Тысяча рублей, отсчитанная Ванюшею, как будто и не уменьшила несколько

мешка: он казался непочатым.

— Да сколько же в тебе всего? — закричал Ванюша, как будто бездушный мешок мог понимать слова его.

— Сосчитаю! — вскричал громко Ванюша. Он поспешно сбросил с себя кафтан, разостлал его на траве, схватил мешок и разом высыпал на кафтан все золото: желтые блестящие кружочки грянули звонко, покатались, упали в груды, и лучи солнца ярко отразились на золоте.

* * *

Благословлять или проклинать память твою, первый сыскавший золото, ты, который нашел крупинки его в земле или в песке и, прельщенный сиянием кусочков, принес их к своим братьям, показал им свою находку? Думал ли ты, когда в первый раз взор человечества в твоём взоре был устремлен на этот блестящий металл, думал ли ты, что в руке твоей семена гибели, ужасов, бедствий? Для чего не скрыл ты в глубине морей своей находки, для чего не бросил ее, как страшный перстень Соломона, в морские хляби, не вслушался в смех Искусителя, коим приветствовал он начало

новых бедствий бедного человека! Кто видал груды золота, небрежно брошенную, кто знает, как обольстительно играют лучи солнца на такой бездушной груди, тот поймет детскую радость неопытного сердца, с какою смотрит юноша на золото, звезду земную, и скорбь, с какою глядит старик на темнеющие перед ним лучи ее, когда ночь смерти застилает ему глаза!

Долго считал Ванюша, и в это время он ни о чем не мог думать. Так после блеска молнии, пока раскат грома грохочет по небесам и сыплется в отголосках по земле, человек не изумлен, не испуган, но ничего не мыслит. Механически двигались руки Ванюши по золоту, но уже насчитал он тысячу, две, три, пять, десять, и вполовину, втретью не уменьшилась куча! Еще насчитано десять: куча все еще огромна! Тут не достало ни сил, ни счета, ни места у Ванюши: он все раскладывал стопками, застановил ими весь свой кафтан, вдруг смешал их, сдвинул все снова в одну огромную кучу и сам не понимал, сколько тут тысяч — тысяч, когда за два, за три часа у него были в кошельке копейки, и тех как вер-

но знал он счет!

— Ге! ге! гей! гей! — раздалось вдалеке, и Ванюша задрожал, не имел сил сойти даже с места, только закрыл поспешно полами кафтана золото и робко прислушивался. По самой опушке леса проходил гурт волов в Петербург. Ванюша только теперь увидел всю свою неосторожность. Ясно различал он мычанье волов, лай собак, забежавших близко к нему в чащу леса, хлопанье длинного бича и чуть слышный говор малороссиян, проводников гурта. Что, если увидят его? Где его лошадь с Волочком? Что подумают? Он поглядел на небо и увидел, что уже был полдень. Время пролетело невидимо. Ванюша сам не знал, куда девалось целое его утро.

Но гурт прошел мимо; все умолкло вдали; всюду тихо, только иволга уныло насвистывает свою песню, ветерок колышет листочками дерев, и изредка раздается голос кукушки. Ванюша тихо раскрыл кафтан свой, собрал в мешок все золото по-прежнему и понес его к своей лошади. Жарко дыша, смиренно стояла забытая лошадь и как будто дивилась, что заботливый хозяин оставил ее, не надевши ей

на голову торбы с овсом.

— Ну, сивко! — сказал Ванюша, трепля свою лошадь, — теперь и моя, и твоя работа кончилась! Он поло жил мешок свой подле себя, сел, выехал из лесу и почти доехал до большой дороги.

Но тут Ванюша опять остановился. "Сумасшедший! Что ты делаешь? Куда ты едешь? — сказал он сам себе. — Назад, назад, спрячь мешок и поезжай порожняком". Он поворотил лошадь, убежал в лес, выбрал местечко, заметил его, палкою вырыл ямку, положил в нее мешок, забросал землю, хворостом, пошел, останавливался, ворочался, был как в лихорадке и наконец поехал опять.

Итак, Ванюша сделался обладателем такого богатства, которого и сосчитать даже не умел? Спросим у него, счастлив ли он? Бог весть! Если счастье оказывается тихою радостью, спокойствием души, веселостью, надеждами на будущее, то золото не сделало Ванюши счастливым. Состояния его нельзя было назвать радостным, и едва ли спокойна душа, когда то холодный, то горячий пот выступает на лице, сердце колотится, как будто хочет

выскочить, во рту сухо, горько. Ни одна мысль о счастье не светила в душе Ванюши. К стыду моего доброго героя скажу, что он ни разу не подумал о Груне, об отце, о селе своем. Все кипело, крутилось у него в голове, и ничто не представлялось ему в ясных, понятных образах.

"Я нашел клад; бог меня благословил им, — думал Ванюша. — Но кто-нибудь потерял эти деньги? Что, если они не пойдут мне в благословение, если потерявший, может быть, вкладывает теперь голову свою в петлю, и душа его падает на мою душу? Но кто ж это знает? Береги он лучше: что с воза упало, то пропало; у него, верно, еще осталось больше, а то он стал бы крепче смотреть за своими деньгами. Но не украл ли я эти деньги? Нет! Я взял их среди бела дня, с виду. Кто же видел это, кроме Спасовой иконы, пред которою я молился каждый день? Но трудовые ли они твои? Чем ты заработал их? Куда с ними деваться, как скроешь их от людей? — Зачем скрывать?.. Нет! нет! лучше скрыть: возьму два полуимперияла, расплачусь с дядей Парфеном, захвачу свой мешок и уеду в деревню.

Там — закопаю деньги и прокляну так, чтобы не даровыми достались они вору и разбойнику; скую железный ящик, складу погреб, буду караулить их день и ночь! Но дядя Парфен спросит, откуда я взял два полуимперияла? Скажу: нашел. Кто спрашивает, откуда деньги берутся у человека! Лишь только были бы они. Но если он подумает, что я украл? А вот посмотрим...

Что за чудо: видно, дорога до Москвы растянулась или я не туда поехал сдуру", — промолвил Ванюша, замечая, что он едет весьма давно. Он огляделся: невдалеке от него лес, где закопал он деньги, впереди застава Тверская. Вавюша и не замечал до сих пор, что лошадь его распряглась, стояла на одном месте и щипала траву, а сам он сидел неподвижно на Волочке своем и держал вожжи, не чувствуя, что и не двигается с места.

"С нами крестная сила! — говорил Ванюша, запрягая снова лошадь. — Право, мне кажется, что я одурел. Уже не напущенное ли это? Не проклятые ли это деньги? С тех пор как я нашел их, право, не вспомнюсь. Брошу их, забуду: пусть гниют они до скончания ве-

ка! Нет, лучше возьму и поеду прямо в деревню; но, нет, нет, нельзя... Что скажут обо мне? Меня поймают...

Да разве я украл их? — продолжал он, приближаясь к заставе. — Нет!" А тайный голос едва внятно говорил ему другое... Казалось, что знак проклятия чернел на лбу его. Всяк, кто встречался ему, был весел, пел, говорил; Ванюша молчал, краснел, бледнел, и мысль "они не мои!" в первый раз так сильно заговорила в душе Ванюши, что никакие другие мысли не могли пересилить. "Они не мои!" — повторял он, и ему представилось, как горько будет ему снова упасть в прежнее свое бедное состояние, ему, обладателю богатства бесчисленного!

— Да не видишь, что ли, ты, ванька проклятый! — закричал громкий голос, и Ванюша увидел, что он едет по Тверской-Ямской и наехал прямо на булочника, расставившего холстинный навес над своими булками и калачами. Ванюша хотел взглянуть еще раз на лес, где спрятал он деньги: лес этот не был уже виден, и — без памяти поворотил он лошадь, погнав за заставу, к лесу, бросился в

лес, к знакомому месту: все цело. Снова пустился Ванюша к Тверской заставе и въехал в город.

Уже вечерело. "Нет! — сказал Ванюша, — не оставаться им тут. Мне не уснуть, если не подложу их под голову".

— Кой черт этот ванька разъездился! — сказал часовой, прохаживаясь перед гауптвахтою подле заставы.

— Я ничего не украл! — вскричал громко Ванюша, которому казалось, что в голосе часового он слышит голос судии.

— Этому и воровать! — отвечал часовой, смеючись и продолжая свою мерную прогулку.

Но Ванюша не смел уже возвратиться в Тверскую заставу. Он вытащил свой мешок, завернул тщательно в холстину и далеко объездом въехал в заставу Преснейскую. Была ночь, когда он приехал к дяде Парфентью. Бесперывно въезжали во двор его товарищи. Голодный, утомленный, изнуренный, обладатель мешка с золотом видел во всем подозрение, умысел, прислушивался к каждому слову, и когда один из извозчиков спросил у него

веревочки и хотел прикоснуться к его холстине, Ванюше едва не бросился на него, как неистовый, едва не ухватил его за горло, как бешеная собака.

Сколько думал, сколько мучился он, пока успел укрыться от всех глаз, схватить свое золото и спрятать в старом сарае, между обломками телег, дрожек, саней. Там, на длинных шестах, уже давно покоились курицы, и появление человека испугало их всех; крылатые крикуны закричали, закудахтали... О! Ванюша готов был провалиться с ними и с золотом сквозь землю!

Несчастный! Тебя мучило оно, как мучит человека первое преступление; но еще ты не знаешь всей бездны, куда ты упал! Погоди: она раскроется перед тобою, если ты гонишь от себя тайный, благодетельный голос совести, пока еще чистой, но уже тускнеющей под ядовитым дыханием низкой слабости! Еще шаг — и ты погиб: возврата не будет.

Дикий и мрачный вошел Ванюша в избу, где собирались все извозчики. Он боялся встретиться со взорами своих товарищей, боялся говорить, как будто страхась, что на его

лице, в его голосе они прочтут, узнают роковую его тайну.

Дядя Парфентий, каждый вечер отбиравший у него деньги, не встретился с ним. Ванюша залез в самый дальний угол полатей; ему не хотелось ни есть, ни спать; только огромный ковш воды проглотил он; забыл и лошадь свою: кто-то, добрый человек, отпряг ее и поставил к колоде с сеном.

* * *

Никто не заметил положения Ванюши; но как ни был смущен, расстроен Ванюша, он заметил, что всех занимало нечто необыкновенное: все собирались в кружки, говорили вполголоса, чего-то ждали. Наконец явился дядя Парфентий, и все умолкло.

Дядя Парфентий был в своей китайчатой троеклинке и в шляпе; он только что возвратился домой и, не скидая платья, сел он на лавку, громко провозгласив:

— Ну, штука!

— Что? — вскричало множество голосов.

Ванюша не обращал внимания, но холод прошел у него по телу, когда дядя Парфентий начал рассказывать, что он был на съезжей,

что ему там объявили о важной потере и велели спросить у всех извозчиков, не нашел ли кто потерянного или украденного, не видал ли, не слышал ли кто? Утром пропал у купца из Меняльного ряда кожаный мешок, в котором находилось сорок тысяч рублей золотом.

Общий крик удивления был ответом. Извозчики всё уже слышали об этом, но решительное, верное подтверждение успело изумить их всех.

— Ну! идет потеха! — продолжал дядя Парфентий. — Во всей Москве только и разговоров; везде, в постоялых домах, трактирах, на улицах, смотрят, подслушивают, спрашивают. Его превосходительство изволил сказать, чтобы потеря была непременно сыскана.

Тут пустился он в объяснения, сожаления, качанья бородой и головой, спросы. Никто не знал, не видал, не слышал.

А где был тот, кто один в целой Москве знал? Он лежал неподвижно, молча; только тогда, как дядя Парфентий, кончив разговор, пошел в каморку и начал раздеваться, а слу-

шатели, забывая ужин, толковали, говорили, судили, судорожным усилием сполз Ванюша с палатей, кое-как доплелся до каморки и спросил Парфентья:

— Неужели, дядя Парфен, нигде никакого следа не найдено?

Если бы дядя Парфентий не был совершенно занят новостью, то заметил бы ужасную перемену лица Ванюши, бледного, как полотно, заметил бы впадшие его глаза, растрескавшиеся губы и самую странность вопроса о том, о чем сейчас только Парфентий подробно рассказывал. Но Парфентий рад был случаю повторить и повторил все снова, тем более что к ним подошли еще слушатели.

— Ну, а что же, дядя Парфен, будет тому, кто найдет, да утаит?

— Что? Обыкновенно: кнут и Сибирь! — отвечал Парфентий.

А! какой ужасный свет озарил теперь перед Ванюшею бездну, зиявшую под ногами его! Он бросился вон, оглушенный, обезумевший, не чувствовал, как ударился о притолку. Под сараем блестел фонарь на столбе; все было тихо, спокойно, и эта тишина, это спокой-

ствие казались гробовым покоем несчастному Ванюше. "Я уже вор, разбойник: я завладел чужим; уже цареве правосудие грозит мне казнию, уже из всей Москвы, где нет счета людям, на мне наклеямен знак погибели..." Он ходил под сараями, не заметил, как товарищи его отужинали, легли; все замолкло, фонарь погас. Теперь не корысть, не сребролюбие терзали Ванюшу — нет — мысль "я преступник!" тлела в груди его, как труп, на распутий брошенный. Где тогда были вы, помышления о счастье, надежды радости, которыми утешал себя некогда Ванюша, и ты, раскаяние, примиритель отверженного с богом и добродетелью! Он не смел идти к людям, не смел сказать слова, не смел подумать о будущем.

"Ну! будь, что будет! — вскричал он наконец голосом отчаяния. — Господи! Я не вынесу этого: лучше смерть и мука здесь и в аду!"

Он вошел в избу. В каморке Парфентья еще светился огонь; Парфентий лежа высчитывал продажу, творил молитву. Все другие громко храпели.

— Дядя Парфен, дядя Парфен! — сказал Ва-

нюша, севши в бесилии подле столика в каморке.

— Ну! что ты? — отвечал Парфентий без внимания, как человек, у которого перервали важное занятие.

— Я...нашел пропажу... — едва мог промолвить Ванюша.

— Как? — воскликнул Парфентий и столь быстро вскочил с лавки своей, что испуганный кот, дремавший подле него, опрометью вспрыгнул на печь.

— Делай, что хочешь... Суди меня бог и царь: пропажа у тебя на сарае.

— Тише, тише! — прошептал Парфентий, как будто присутствие сорока тысяч рублей золотом в его доме внушало ему благоговеющее молчание.

Тихо пересказал ему Ванюша, как поднял он мешок. Но далее Парфентий не мог вытерпеть.

— Пойдем! — сказал он, зажег фонарь и, не обуваясь, пошел к сараю. — Тише! — твердил он беспрестанно дорогою.

— Полезай и принеси, — промолвил Парфентий, подошед к сараю.

— Нет, дядя Парфен, я не пойду: мне страшно; поди сам... под осью, в углу, где корзина...

Быстро полоз Парфентий, а Ванюша стоял и слушал беззаботный разговор двух извозчиков, которые лежали в стороне, под сараем.

— Ну, брат Гришка! Если бы я нашел, уж так бы и быть, а меня бы ты не увидел в Москве.

— Да куда бы ты провалился?

— Вот: куда! Русская земля не клином вышла, а по золотой дорожке следа не нашел бы сам дедушка домовой.

— Ну, к бесу! Если бы мне попало, я вынял бы сотни две да взял себе, а остальное отдал...

Смех кончил их разговор. Парфентий нес уже мешок, закрыв фонарь. Бог знает отчего, этот заколдованный мешок и на дядю Парфентья произвел такое же действие, как на Ванюшу: дядя бледнел, краснел, дрожал, клочки остальных волос без ветра шевелились на голове его. Он пошел молча к сеням, переменяя руки, как будто держа раскаленные уголья, и в сенях положил мешок на стол.

— Хоть бы сосчитать их... — сказал он глу-

ХО.

— Нет, нет, дядя Парфен! ради бога веди меня и неси мешок куда хочешь, в яму, в острог, на съезжую...

Парфентий не утерпел, развязал мешок, взял в руки по горсти монет, положил, еще взял, и руки его тряслись.

— Экое богатство! — проговорил он. — Гм! богатство... богатство, а все тлен и прах... богатство... — Он как будто проглотил последнее слово, оправился и, завязывая мешок, продолжал изменившимся голосом: — Видно, праведно нажито: и в огне не горит, и в воде не тонет, и на дороге не крадут... Пойдем!

Парфентий схватил первый зипун и шляпу, какие попались; не выпуская мешка, надел кое-как; он и Ванюша отправились к частному приставу.

* * *

Был в Иркутске случай замечательный. Там, в дальнем переулке, который ведет от кладбищенской Крестовой церкви, жил старик с женою-старушкою и племянницею-девочкою. Его считали богатым, по крайней мере с деньгами. Вдруг однажды поутру не отпи-

раются окна и ворота в домике; прошел день: все молчит, никто не выходит из домика. Соседи собрались, потолковали, пришли: все заперто; отперли, входят: старик, старушка, девочка — убиты, зарезаны. Старик с разрубленною головою лежал на лавке, и рука, которою хотел он перекреститься, замерла на лбу с сложенными перстами; старушка, задушенная, лежала под подушками в другом углу, и девочка, с перерезанным горлом, была подле окошка, из которого, как видно, хотела выско-чить. Сундук старика стоял среди избышки разломанный. Кто убийца? Знаков и следов не было; искали, искали, похоронили убитых, и уже опустелый домик, от которого бежали вечером прохожие, разрушался, когда вдруг приходит в полицию человек и говорит, что он несколько лет тому убил старика, жену и племянницу его.

— Вот что нашел я у них в награду! — ска-зал он и положил на стол семь гривен меди, пятирублевую ассигнацию и два старинные целковые. — Ради господа, велите меня су-дить и наказать скорее, и вот деньги, мною найденные у старика: они целы, они прили-

пали к рукам моим, когда я хотел их отдавать другому, хотел бросить их!

Вскоре страшное наказание над ним совершилось; он перекрестился и сказал:

— Теперь только вижу свет божий!

Его расспрашивали и узнали, что он бегал за Байкал и к диким братским, молился, пускался на новые злодеяния, но нигде не находил покоя: ему мечтались повсюду тени убитых; кровь их капала на каждый кусок хлеба, багрила каждую каплю воды, которую глотал убийца, и невинная душа девочки, как ангел мщения летая пред ним, твердила ему днем и ночью: "Иди и скажи!" Привидения исчезли, когда он искупил страданием преступление. Благоговейно пошел убийца в бездонные Нерчинские рудники, как пример божьего правосудия и до пределов гроба.

Я рассказал вам ужасный пример сей, чтобы объяснить, отчего Ванюше сделалось легче, когда золото, им утаенное, было возвращаемо назад; когда он увидел, что медленность, нерешительность, мысль овладеть чужим добром — все это, на целый день сделавшее его обладателем мешка с золотом, было обви-

нением его, что он был вор, хищник, преступник перед судом своей совести — увидел и предавал сам себя в руки грозного суда. Так, он не выдержал испытания: он не принес золота с детскою простотою и не сказал:

— Вот я нашел золото, но оно не мое; отдайте его, кому оно следует!.. — Горе ему: он грешен, и только в раскаянии спасение его...

Парфентий застал частного пристава еще неспящим. У него были гости. В огромной комнате, по стенам коей щели заклеены были полосками писанной бумаги и убраны портретами и старыми географическими картами, сидело с десяток человек вокруг двух столов с картами, пуншем и табаком; табачный дым расстилался облаками, и сам пристав выступил с трубкою, в халате и с вопросом:

— Что ты?

Но как изменился вдруг спокойный, важный вид пристава, куда полетела трубка его, когда Парфентий вытащил из-под полы мешок и объявил, что племянник его нашел потерю, занимавшую всю полицию московскую.

И карты также полетели в стороны от этих

слов! Торжественно положили тучную пропажу на зеленый стол. Несмотря на горечь, печаль, Ванюша не мог не заметить, что мешок с золотом производит на всех чудное действие. Он не знал, что лихорадка бьет каждого, кто прикоснется к таинственному мешку, и увидел, что самый пристав, так же как дядя Парфентий, и дрожал, и краснел, и бледнел, развязав мешок, взяв в горсть золота и перебирая его перед свечкою.

Говорили немного.

— Сидорова сюда! — закричал пристав. Явился Сидоров, небритое, со включенными волосами, в фризовой старой шинели создание, выпучил глаза на мешок, молча общелкал перо о стол и написал показание со слов Ванюши.

По данному знаку явились два казака и стали по обеим сторонам Ванюши. Тут задрожал он, как осиновый лист, слезы полились градом, колена его подломились.

— Батюшка, ваше благородие! помилуйте! — воскликнул он. — Божусь, что я не взял ни одной копейки: все тут, что нашел я!

Зачем не хотели утешить его ласковым

словом! Зачем никогда не подумают исполнители правосудия о мучении, какое еще прежде кары должен вытерпеть самый преступник в ужасном молчании, в грозном виде судей! Но таков обычай почти всех судей и всех судов. Ни слова не было в ответ; мешок запечатали печатью частного пристава, печатью Парфентия, сам пристав понес его вниз, в присутствие; Ванюшу схватили казаки, и он — в тюрьме, душной, ужасной, где приход его разбудил двух или трех человек, крепко спавших.

— Здорово, товарищ! — сказал один из них, не поднимая головы.

Товарищ! Ванюша — товарищ злодея, может быть, убийцы! Нет, нет! Он искупает только минутную дань человеческой слабости в смердящем воздухе тюрьмы! Он не спал среди храпенья заснувшего крепко злодейства, и ангел-утешитель слетел к нему в молитве; тихие слезы смывали пятно с его совести.

* * *

Когда лучи солнца проникли сквозь туск-

лые стекла тюрьмы, уже не было отчаяния в груди Ванюши: скорбная преданность судьбе видна была на лице его.

Застучал и упал тюремный затвор. Ванюшу вывели из тюрьмы; рядом с ним пошли два казака и привели его в дом обер-полицеймейстера. Тут ввели его в прихожую и велели ждать. Он стоял убитый горестью, безмолвный, когда отворились двери, вышел вчерашний пристав и велел ему идти далее.

В другой комнате сидел старик, в синем русском кафтане, с пуховою шляпою в руках. Длинная седая борода окладисто падала от лица его. Он не обращал ни на что внимания и казался задумчивым. Почтительно стал у дверей пристав, по другую сторону дверей Ванюша.

Ах! первым лучом отрады был для него приход доброго начальника! Он явился не судиею мрачным, ужасным, таинственным, но добрым, милостивым блюстителем правосудия и кротким исполнителем обязанности, часто тяжелой. Лицо его было оживлено милосердием и добротою.

— Григорий Васильевич! — сказал он, про-

тягивая руку к старику, с почтением кланявшемуся, — здравствуйте. Я рад, что хотя неприятный случай доставляет мне удовольствие вас видеть. Сядемте. Кажется, что ваша потеря нашлась. Но расскажите мне сперва дело подробно и обстоятельно.

Старик был богатый купец из Меняльного ряда. Он променивал в год миллионы, вел дела с братом, жившим в Петербурге, и по мере возвышения или понижения курса повозки с ассигнациями, серебром, золотом летали у них в Петербург или Москву. Накануне получил он кибитку серебра и мешок золота; сложивши все мешки на телегу, привез он их в ряд рано поутру, когда еще никого не было в рядах, чтобы никто не заметил получения серебра, и слух о получении не уронил курса. Воз въехал в ряд, и за ним забрали снова доски, которыми запирается ряд. В то время, как воз вдвигали в ряд, тяжелый небольшой мешок золота скатился с воза и упал на улице; схватились его тотчас, бросились смотреть на улицу, искать домой: нигде не было; немедленно подано было объявление в Управу благочиния; следствия уже нам известны.

— Сколько было в мешке?

— Сорок тысяч без промена, — отвечал купец.

— Какою монетою?

— Полуимпериялами, частью империялами; думаю немного было наполеончиков и австрийских.

— Какой был мешок?

— Английской крепкой кожи с буквами "Г. В. Ф.". Тут обратился обер-полицеймейстер к Ванюше:

— Не робей, мой друг, и расскажи мне все: кто ты, откуда, как нашел ты мешок?

И Ванюша заговорил красноречиво: каким образом отец его разорился, как он думал найти в Москве свое счастье, как нашел гибельный мешок, как, изумленный, обезумевший, не знал, куда с ним деваться, и как открыл все дяде.

— Грешный человек! — продолжал он. — Я не хотел красть, но ум за разум закатился у меня, и — судите теперь меня, как вам угодно...

Все казались растроганными, кроме частного пристава, все холодно слушавшего и

неподвижно, в струнку вытянувшись, стоявшего у дверей.

— Сколько же хотел бы ты взять себе из мешка, если бы тебе дали на волю? — спросил его добрый обер-полицеймейстер. — Сколько воображаешь ты себе самым большим богатством?

— Тысячу рублей, если бы дал мне бог, — отвечал Ванюша, сложив руки и подняв глаза к небу, — тысячу рублей, и я был бы самое счастливое божие создание!

— Тысячу! Много, брат, велик куш! Вот ваш мешок, Григорий Васильевич! — сказал потом обер-полицеймейстер купцу, вставая и сбросив салфетку со стола; мешок с золотом лежал под нею. — Считайте, все ли, но позвольте начать счет мне. — Он развязал мешок, отсчитал пятьдесят полуимпериялов, отложил к стороне и, обратясь к купцу, спросил: — Так ли?

— Нет, не так, ваше превосходительство, — отвечал купец, сам подошел к столу, отсчитал еще пятьдесят полуимпериялов, положил к отделенным уже пятидесяти и сказал: — Теперь так.

— Благодарю вас, — промолвил обер-полицеймейстер, пожимая снова руку купца. — Иван Федосеич, — сказал он, смеясь, — ты чуть было не сделался плутом, но за то суди тебя бог, а в глазах человека ты достоин награды за свою честность. Держи шляпу: вот это тебе две тысячи рублей и — разживайся на здоровье!

Ванюша не говорил ни слова: он плакал... Эти слезы были уже слезы радости, и жаль, что людям столь редко удается плакать такими слезами...

* * *

Рассказ мой кончен. Вы угадаете остальное. Не знаю, понравился ли вам герой моего рассказа: я представил все, как было, как случилось, ничего не прибавил, не скрыл. Но если Ванюша возбудил ваше участие, я скажу вам, что он тотчас оставил Москву, несмотря на предложения, ласки, поклоны дяди Парфентья и униженность всех своих бывших товарищей. Он поехал прямо в Троицкую Лавру и там, когда он молился у гроба святого Сергия, подле него стала на колени и также молилась молодая странница. Ванюша взглядел-

ся в нее: это была Груня; она пришла к Троице по обещанию с своею бабушкою; воротились они обе вместе, пешком: так следовало по обещанию Груни; Ванюша не хотел уже с ними расставаться. При входе в родную деревню попались им два человека, которые шли обнявшись и навеселе. Кто такие они были? Староста Филарет и Федосей! Молва прилетела в деревню прежде Ванюши, и сам староста первый пришел пенять Федосею, что он забыл старого приятеля, а Федосей не хотел помнить старого зла и ждал добра от настоящего. Золото озолотило будущее для него и для Ванюши.

Если бы я рассказывал выдуманное, то мне в окончании надобно бы, осчастливив добрых, наказать злых; но в белом свете не всегда так бывает. Где и когда рассчитывается здешнее добро и зло, известно не нам, и в наших глазах иногда добрые остаются в убытке, а злые в барышах. Впрочем, кто же в моей повести злые? Староста Филарет, Москвич?.. Друзья мои! много ли останется агнцов, если их отделим мы к козлищам? Нет, нет! через три года Сергей приехал к отцу, веселый, с

молодою женою, и пировал тогда на свадьбе Москвича, где тысяцким был Федосей, дружкой Ванюша, а староста Филарет плясал, держа на руках милого, хорошенького внучка своего, Филарета Ивановича.

1829

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание сочинений Н. А. Полевого вошли наиболее характерные и известные повести писателя, а также его письма. Некоторые из ныне публикуемых художественных произведений Полевого уже знакомы современному читателю (см.: Рассказы русского солдата. — В сб.: Русские повести XIX века 20-30-х годов. — М.; Л., 1950. — Т. 2. — С. 3–58; Блаженство безумия. — В сб.: Русская романтическая повесть: Первая треть XIX века. — М, 1983. — С. 301–336), другие впервые перепечатываются после долгого перерыва. Тексты повестей и писем расположены в хронологическом порядке. Сборник "Мечты и жизнь" включается полностью с сохранением авторской композиции.

Для настоящего издания тексты проверены по всем имеющимся рукописным (письма) или печатным источникам. Повести печатаются в последних редакциях. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, за исключением случаев, когда отклонения имеют экспрессив-

но-смысловой характер либо передают колорит эпохи, особенности произношения самого Полевого (например, "азиятское", "воксал", "вороты", "вынял", "скрыпка", "тма"). Сохранены также особенности пунктуации, имеющие интонационное значение.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ СОКРАЩЕНИЙ

БдЧ — "Библиотека для чтения"

ВЕ — "Вестник Европы"

Записки — Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. — СПб., 1888.

Известия — Известия по русскому языку и словесности. 1929. — Т. 2, кн. I. — Л., 1929.

МТ — "Московский телеграф"

ОЗ — "Отечественные записки"

РА — "Русский архив"

РВ — "Русский вестник"

РС — "Русская старина"

СО — "Сын отечества"

СПч — "Северная пчела"

Мешок с золотом. Впервые: МТ.- 1829. — Т. 27. — С. 182–219, 306–351 с подзаголовком "Русская быль" и подписью "Н. П.". С добавлением

эпиграфа и незначительными изменениями в тексте перепечатано в сб. "Мечты и жизнь" (М., 1834. — Ч. 4. — С. 5–154). Публикуется по этому изданию с исправлением типографских погрешностей по первой публикации.

С. 368...обедают у воевод... — Имеются в виду градоправители (звание воеводы как начальника города было упразднено в 1775 г.).

С. 369. Колдун-мельник. — Согласно народным поверьям, ремесло мельника предполагало общение со сверхъестественными силами.

...подле бахусова храма... — то есть около питейного дома.

...к мирской избе... — Для так называемых "государственных крестьян" (лично свободных, живущих на казенных землях) были установлены особые формы самоуправления — мирской сход и мирские выборные. К этой категории крестьян относятся и герои повести Полевого.

С. 370...пастушки аркадские... — Аркадия — область в Греции. В литературе эпохи античности, а затем и XVI–XVIII веков изображалась счастливой страной с патриархальной

простотой нравов.

Ирвинг Вашингтон (1783–1859) — американский писатель-романтик, один из популярнейших иностранных авторов в России 1820-30-х гг.; его произведения высоко ценились Полевым.

Цшокке Генрих (1771–1848) — широко известный в России пушкинской поры швейцарский писатель. Как и Ирвинг, печатался на страницах МТ.

С. 372. Сотские — выборные (обычно от ста дворов) должностные лица.

С. 373...полгаленка чаю... — то есть полпорции.

...писать мыслете... — то есть идти шатаюсь, зигзагами, заплетающейся походкой ("мыслете" — старинное название буквы "м").

Выжига — плут, опытный мошенник.

Подторговщик — подставное лицо, набивающее цену на торгах.

Кулак базарный — безденежный перекупщик, живущий обманом.

С. 374. Поярковая шляпа — сделанная из поярка, шерсти от первой стрижки молодой овцы.

Александрийская рубашка — из красной бумажной ткани, включающей и нитки другого цвета.

С. 378. Вереи — столбы, на которые навешиваются ворота.

С. 381. Мудрый Сократ имел у себя услужливого демона... — Речь идет о так называемом "демонии" — божественном внутреннем голосе, удерживающем человека от дурных поступков; согласно Платону, Сократ часто ссылался на него как на руководящую им силу.

С. 383. Пестредка — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая.

С. 384...Федосей явился на мирскую сходку по-прежнему... — Согласно закону 1805 г., участниками мирского схода могли быть только домохозяева.

С. 386. Иванов червяк — светляк.

С. 388. Галь — см. примеч. к с. 193.

Животный магнетизм — см. примеч. к с. 102.

Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) — швейцарский писатель и философ, автор

трактата "Физиогномические фрагменты для поощрения познания человека и любви к людям" (1775–1778), в котором пытался установить связь между духовным обликом человека и строением его лица и черепа.

С. 389...к лицу без образа... — Полевой использует выражение Жуковского ("Славянка", 1815).

...приложить физиогномический циркуль... — В теории Лафатера важное место занимало измерение частей лица и установление их соотношения между собой.

С. 390. Киарини Феликс (ум. 1830 или 1831) — знаменитый акробат.

С. 392. Пенник — крепкое хлебное вино.

Калибер — принятое в старой Москве название простых рессорных дрожек.

С. 393. Хожалый — здесь: служитель полиции, рассыльный.

Частный дом — здание, в котором размещалась полиция административного района (части) города.

Пошевни — широкие сани, обшитые внутри лубом.

Волочек — крытая зимняя или летняя по-

возка, кибитка.

Ванюшка (Ванька) — зимний легковой извозчик на плохой крестьянской лошади и с бедной упряжью.

С. 394. Будочник — низший чин городской полиции.

...не уважали синих и красных бумажек и гордились только белыми. — Речь идет об отличавшихся цветом пяти-, десяти- и сторублевых ассигнациях.

С. 395...если стать в Китае... — Речь идет об историческом районе Москвы, Китай-городе, включавшем Красную площадь и кварталы, примыкавшие к Кремлю.

С. 399...страшный перстень Соломона... — Согласно легенде, древнееврейский царь Соломон обладал перстнем, при помощи которого мог заклинать демонов. Когда демон Асмодей, завладев перстнем, кинул его в море, Соломон лишился магической силы и вновь обрел ее, лишь найдя перстень внутри пойманной рыбы.

С. 403...в своей китайчатой троеклинке... — в полукафтани из простой бумажной материи.

Съезжая — помещение при полиции, где содержались арестованные и производились телесные наказания.

С. 407...к диким братским... — Речь идет о бурятах, населявших окрестности Братского острога в Иркутской губернии.

С. 408...в фризовой старой шинели... — шинели из толстой ворсистой ткани типа байки.

Обер-полицеймейстер — начальник полиции в Петербурге и Москве.

С. 409. Управа благочиния — полицейский орган, выполнявший административные и судебные функции.